



## Фёдор Конев

**Фёдор Егорович Конев**, сценарист, писатель. Уроженец с. Мужи, живёт в г. Минске.

# ЖИВИ И РАДУЙСЯ

## повесть

### Оленёнок

Он появился на свет три дня назад, стоял на тонких, ещё зыбких, нетвёрдых ногах и смотрел с таким любопытством, что Никите смешно стало, и он фыркнул. Никто на него прежде так не смотрел, потому что не был он невидалью, а обыкновенным деревенским мальчишкой, уже успевшим намозолить глаза всем соседям. Непоседливости в ту пору было в нём сверх меры, на месте минуту не постоит, а тут уставился в глаза оленёнка и оторваться не мог. И тот тоже...

– Что он на меня так смотрит? – спросил Никита маму, проходившую рядом.

– Он с тобой дружить хочет, – ответила она.

Наивная мордочка оленёнка прямо-таки излучала интерес к жизни. Он родился в радости, полагая, что ему тем же ответит мир, в котором оказался. Никита с ним дружил с весны до осени. Сосед, бывший оленевод, держал во дворе самца и двух важенок. Вот одна из них и оте-

лилась. С новым другом Никита встречался каждый день, делился своим пайком хлеба и давал ползать с ладони соль, которая была в то послевоенное время на вес золота. Но оленёнок очень любил посолониться.

А в конце осени, по долине реки проходило по обыкновению мимо села оленьё стадо, возвращаясь с моря в тайгу, и подросшего оленёнка хозяин отдал пастухам.

Никита его тут же потерял из виду, его друг слился с тысячеголовой серой массой, бредущей по плоскому льду реки. Может, и оглядывался, чтобы ещё раз увидеть Никиту, но уже не побежать было назад, бездумное стадо влекло его вперёд под лай собак. На снегу осталась разрыллённая множеством копыт полоса, Никита её видел с крыльца ещё несколько дней, но потом позёмка выровняла речную долину.

Никита знал, какая жизнь ожидала его друга, – многодневные каслания от тайги до Карского моря через всю тундру, со-

рокоградусные морозы, летние полчища гнуса и овода, тяготы в санной упряжи под ударами хорея и конечное обречённое ожидание в загоне среди других себе подобных, отобранных на убой.

Хозяином его был Сём Вань, живший по соседству, за изгородью, в крохотной избушке. И Никита этого хлопотливого мужичка люто возненавидел, потому что тот разлучил его с другом. Невольно стискивая кулачки, Никита спросил Сём Ваня:

– Зачем отдал?

– Уезжаю. На кого оставить? – ответил тот, кивая на оставшихся оленей. – Этих забью. Мясо в сельпо сдам. Деньги нужны на дорогу.

Поодаль стояли олешки и прислушивались к разговору, будто догадываясь, о чём идёт речь. Но к тому, что говорил хозяин, они относились смиренно, потому что понимали – от судьбы не убежать. Олени самые понятливые животные, оттого глаза их такие печальные.

– Не томись, паря, – добавил сосед, догадываясь о переживаниях Никиты. – В тундре ему хорошо будет. Побегаёт среди своих. Хоть волей подышит.

Выходит, Сём Вань оленёнка пожалел, оставил ему жизнь, а Никита готов был отомстить за друга. Правда, ещё не решил – как. И эту затею тут же забыл.

Оленёнка давно нет, так долго эти милые существа не живут, но он остался в памяти Никиты Егоровича. Если бы оленёнок знал, что на старости лет друг вспомнит его ради собственного утешения, то очень довольным остался бы, как бывал доволен, когда слизывал с его ладони крупчатую соль.

## Сём Вань

Где же, от кого и когда Никита Егорович Мехов услышал эту фразу – «Живи и радуйся»? За годы жизни выпало на его

долю множество знакомств, но что-то не припомнится тот, кто умудрился бы сказать всерьёз эти слова. Дружья и приятели уж точно не могли умилиться до такой степени, к жизни относились придирчиво и вечно чем-то были недовольны. А для этого совета нужно много не замутнённой наивности. Потому, догадывался Никита Егорович, непременно за этими словами стоит кто-то из тех, что населяли его детство. Ровесники не в счёт, тем было не до философий, хватало мальчишеских дел и на реке, и в тайге, что зимой, что летом. Кто-то, должно быть, из старших поучал. И любопытно стало – кто?

Теперь, когда Никита Егорович и сам постарел, живут давно ушедшие земляки в глубинах его памяти смиренно, не жалобой, ни упрёком не тревожа, но с тем достоинством, с каким замирают в ночной темени портреты на стенах картинной галереи. И усердный сторож, настороженно идущий по гулким залам с фонариком в руке, случайно и вдруг высветит лицо, Бог весть когда запечатлённое кистью художника, и глянут на стража пронизанные чувством глаза, будто и нет тлена, будто не всё в этом мире приходит раз и уходит навсегда.

С этими мыслями в непогожее февральское утро Никита Егорович стоял на автобусной остановке среди немногочисленных бедолаг, которых какая-то нужда заставила выйти из тёплых квартир и стыть в промозглой сырости, прячась под капюшонами и зонтиками от мокрого снега. День был субботний, автобусы ходили редко, он уже простоял попусту больше получаса. Возвратиться бы домой да согреться бы душистым чаем, но этот соблазн старательно отгонял, потому что причина предстоящей поездки была неотложной. И как назло ни одного такси не проехало мимо, хотя мог и пропустить, не заметив.



Снегопад плотной пеленой завесил округ, человек появлялся из этой белой мглы чуть ли не в семи шагах, дома угадывались по освещённым окнам, и машины тоже только светом фар выдавали себя, проползая мимо. Прямо какое-то сошествие снега! И длилось так уже минут двадцать.

Как раз в это время и увиделся, выплыв из памяти, Иван Семёнович Беляев, тот самый сосед, хозяин оленёнка, помещному – Сём Вань. Он с мороза вошёл в избу в облаке пара, одетый в малицу и обутый в пимы. Опушка капюшона, брови, усы и борода густо заиндевели, будто Иван Семёнович шутки ради надел стылую снежную маску. Одни узкие глаза светились озорной жизнью и сильно радовались, глядя на Никиту, потому что тот мог не оказаться дома, и тогда Сём Вань очень огорчился бы. У него назрело неотложное дело до парня. Он так и заявил сразу:

– Дело у меня до тебя.

В избушке было жарко, и снежная маска растаяла скоро, открыв широкое лицо, сплошь заштрихованное мелкими морщинами. Сём Вань ловко снял через голову малицу и оказался в суконных портках, заправленных в пимы, и длинной, чуть не до колен ситцевой рубашке, стянутой обычной бечёвкой вместо пояса. Малицу он бросил на пол в углу, где она не мешала, и поздоровался с Никитой за руку.

Ему в ту пору было за шестьдесят лет, но это по казённому паспорту, а по природе он и сам не знал, сколько прожил на этой не для всех приветливой земле. Скуластое плоское лицо и узкие, будто понорошку прищуренные глаза сразу выдавали северянина, уж точно не перепутаешь. Был роста не высокого, не крупный телом, но в нём таилось много упругой мышечной силы, будто весь он состоял из

резиновых жгутов, обтягивающих кости. Всю свою жизнь занятый ежедневной тяжкой работой, не накопил мужик ни грамма жира, и вообще не было в нём ничего лишнего, ни в теле, ни в душе. На его тёмном задубелом от ветров и морозов лице выделялись серые детской чистоты глаза с голубоватым налётом, как просини на мгlistом небе. Никита глазам соседа всегда удивлялся потому, что не мог понять, как они сохранились, как не выцвели от всего того, что привелось увидеть Ивану Семёновичу в течение жизни, состоявшей из одних крутых горок, которые укатали бы кого угодно.

Тогда Никита обрадовался гостю и тут же пригласил к столу, благо поспешно засопел самовар, будто совесть проснулась у старухи – гость пришёл. А то ж такая обычно капризная, что семь потов прольёшь, пока раздуешь. Вспомнилось и то, что чай Никита заварил индийский, новую пачку открыл, магазинные конфеты с печеньем выставил, и то не забылось, как пили из блюдец, а о чём тогда между ними завязался разговор, не успело выплыть из памяти. Видение размылось, удалилось в снежную муть. Должно быть, вспугнул его подошедший автобус, который шумно распахнул три пасти, выпустил единственного пассажира, а шестерых всосал в свою освещённую полупустую утробу, недовольно и зло лязгнув дверьми, как челюстями.

Не от него ли, не от Сём Ваня ли слышал Никита эти библейского духа слова – «Живи и радуйся»? Никита Егорович, устроившись на заднем сиденье, прикрыл глаза, чтобы ничто не мешало памяти.

А ведь и впрямь – не встречался больше на земных дорогах другой такой тип, который додумался бы утешить стонущего от боли Никиту таким пожеланием – «Живи и радуйся!». Ясно увиделось,



как это было, как Сём Вань поднял кверху кривой, не гибкий в суставах указательный палец, а живые неунывные глаза стали строгими, как у судьи, который выносит приговор. Позже Никита убедился, что слова эти всегда были при Сём Ване, далеко за пазуху не лез за ними, выдавал при случае, как непреложную истину, с которой спорить не смей.

Но тогда уж очень некстати показались они, потому что Никита час назад, катаясь на лыжах с крутой горы, вывихнул ногу, она распухла в щиколотке и так саднила, что кричать хотелось. Чему ж тут радоваться? Мать побежала в больницу за фельдшером, а сосед узнал от неё про вывих и явился утешить.

– Так написано, – добавил он, чтобы Никита не сомневался, что истина подлинная, а не какая-нибудь прибаутка.

Конечно же, сосед понимал, что Никита в печатном слове не усомнится, книгочей знатный, – вон сколько книг на этажерке! – и ему тут же придёт облегчение. А сам он при этом откинул край одеяла и стал рассматривать повреждённую ногу, причмокивая губами, словно ему было в удовольствие смотреть на вывих.

– Где написано? – спросил через силу Никита

– В одной книге, – ответил Сём Вань, не отрываясь вниманием от ноги.

– И что это за книга?

– Есть такая, – ответил сосед, поглаживая шершавыми ладонями щиколотку.

– И что там ещё написано?

– А ничего.

– Только эти два слова?

Сём Вань ухватился руками за стопу и как дёрнет. Никита как вскочит, как заорёт. А потом чувствует – зря вопит. Боли никакой нет. Вставил Сём Вань сустав на место.

– Только эти два слова, – ответил довольный сосед, – «Живи и радуйся».

– Что это за книга из двух слов? – не верил Никита, поглаживая ногу и удивляясь тому, как всё прошло мигом и стало легко. – Дуришь меня, дядь Вань?

– Не дую, – серьёзно ответил Сём Вань.

– Сам видел?

– Сам.

– И прочитал сам?

– Прочитал.

Никита доподлинно знал, что сосед неграмотный, вместо подписи тамгу ставит. Сдерживая улыбку, Никита посмотрел на него, но тут же понял, что дальше спрашивать ни о чём не надо. Сём Вань сильно расстроился, что Никита ему не верит, и даже засобирился домой.

– Не уходи, – попросил виновато Никита. – Сейчас мама придёт, чаю попьём. Не уйдёшь?

Тогда он остался, а теперь ушёл из памяти, не захотел ещё побыть со старым приятелем.

Нынче с раннего утра Никита Егорович оказался в автобусе не по радостному случаю. Неделю назад сердце чего-то расшалилось, жена вызвала «скорую», а та отвезла в кардиологическое отделение, где стали Никиту Егоровича усиленно лечить. Через неделю на выходные сбежал домой, чтобы надышаться привычным уютом, по которому сильно соскучился, и теперь надо было успеть в палату, пока лечащий врач не пойдёт обходом. Страсть, как не хотелось выходить из дому, но жена, неутомимая в хлопотах его Дарья Алексеевна, со слезами уговорила, чтобы выдержал срок, оставался в больнице, пока не выпишут.

Она, сама бывшая медичка, свято верила в силу медицины, и скажи ей, не поняла бы, что болен Никита Мехов не телом. Врачи, правда, раскопали в его организме разные хворобы – гипертензия, ишемия, стенокардия, тахикардия,



и печень барахлит, и сосуды чего-то не того. Букет болезней, прямо-таки полная икебана! Но в его годы быть вполне здоровым как-то даже неприлично. Это, во-первых. А во-вторых, дело не в них – он-то знал! – дело, не в этих хворях. Только, чтобы не огорчать жену, согласился Никита Егорович вернуться в больницу, полежать ещё под капельницами, поглотить пригоршнями лекарств, а так бы ни за что не поехал, будь его воля.

Жена, недоверчивая Дарья Алексеевна, собралась сама проводить до места. Мол, найдёт благоверный какую-нибудь причину и вернётся назад, шустрый он больно на увёртки. Скажет, автобусы не ходят. Или не успел до обхода, мол, а врачиха так разозлилась, что выписала подчистую. У них, мол, строго. Хочешь лечиться – лечись, не хочешь – катись. Но Никита Егорович восстал против сопровождения. Никита Мехов своей Дарье Алексеевне не супостат, она и без того простужена, её кашель бьёт, а он позволит ей разгуливать по улице. Пришлось свой мужской характер показать – нет, мол, и всё тут. А то не пойду, мол, растянусь на диване, попробуй поднять. Убоялась, что силёнок не хватит, осталась дома.

Так что его неотложным делом было на это утро – успеть в больничную палату к сроку. Вот теперь и трясся в полупустом автобусе, не сомневаясь, что не в хворях дело. Не понимает того лекарша Дарья Алексеевна – не в них. И хвори сидели бы, как кусачие собаки на короткой цепи, когда бы не было главной причины. Ещё недавно был Никита Егорович старичком-бодрячком. Ну, не походил, конечно, на раскидистый дуб, а скорее – на пенёк от него, так ведь какой ядрёный, какой прочный пенёк – узловатыми корнями жадно ухвативший землю, так что никакой силой не вырвать, казалось.

Но вдруг, будто в одночасье всё пошло вразлад, и почувствовал бодрячок себя квашнёй, выбился из формы, расплылся, раскис, сам себе стал противен. Докатился до сердечного приступа, до «скорой помощи».

Автобус плыл в белой мгле, как по дну мутного водоёма, да вдруг выскочил на свет белый. Никита Егорович даже невольно оглянулся, снегопад остался позади плотной стеной, как занавесом перегородив улицу. Бывает же! А по эту сторону было сухо, тротуары и улицы, очищенные от снега, серели асфальтом, а скудный снег лежал только под вытянувшимися в ряд деревьями. Нынешний февраль выдался бесснежным.

Оттого, что за окном автобуса погода поменялась, на душе не посветлело. Жизни без неприятностей, неудач и огорчений не бывает, так уж с начала века заведено. Несёт человека порожистая река, у которой перекаты каменисты, так ведь и плёсы долги. К житейским неудачам Никита Егорович относился терпеливо, как пришли, так и уйдут. И причиной нынешнего уныния были не они. Никита Егорович всегда утешал себя тем, что какой бы долгой ни была ночь, утро всё равно наступит. И ведь настаёт!

На нужной остановке Никита Егорович вышел из автобуса и направился вдоль железной ограды, за которой стояло длинное пятиэтажное здание скучной постройки пятидесятих годов прошлого века, добрался до калитки и прошёл в него. Глянув на часы, убедился, что прибыл вовремя, так что приятно будет пообщаться по мобильнику сердобольной своей Дарье, какой он послушный и обязательный, прямо образцовый муж.

Перед тем, как пройти в здание, на последней верхней ступени крыльца Никита Егорович оглянулся и поднял взгляд. Ему увиделось ясное небо без единой

тучки, оно показалось таким свежим и помолодевшим, словно уже скинуло зимнюю отрешённость и ожило приветливой голубизной. «Живи и радуйся!» – вспомнил он снова заветные слова Сём Ваня, которые вызвали печальную улыбку.

По ступеням, шумно переговариваясь, поднималась группа молодёжи, должно быть, студенты-практиканты. Никита Егорович стоял на их пути, потому поспешил нырнуть в утробу больницы, а Сём Ваня остался по ту сторону двери, в своём времени, в далёком прошлом.

Молодёжь устремилась по широкой лестнице на верхний этаж, а Никита Егорович ступил в лифт и нажал на кнопку. И в маленьком, наглухо замкнутом пространстве вдруг почувствовал, как всё его существо, все жилы и каждую клетку тела сковала тягучая и липкая лень. Она будто тестом облепила сердце, окутала туманом мозг, усмирила чувства, отчего наступало полное безразличие ко всем и ко всему. Ему не хотелось, чтобы лифт остановился, чтобы распахнулись дверцы, не хотелось возвращаться в мир, в котором копошатся в хлопотах люди, ищут, добиваются, ловчат, завидуют и хотят, хотят, хотят. Он тоже ведь чего-то хотел, подобно стайеру бежал и бежал по дороге жизни, думая, что бег его осмысленный, направлен к цели. Теперь ему расхотелось бежать, стало лень. Скрипучий лифт возносил его вверх. Никите Мехову подумалось, что лифт не остановится на пятом этаже, а пойдёт дальше. И там, на недостижимой высоте, он развалится, а Никита Егорович повиснет в невесомости и увидит внизу земной шарик, похожий на гирию, к которой он был прикован. И он почувствует, как легко ему станет, как вольно...

– Ага, размечтался! – возник в голове его чей-то насмешливый голос, не собственный.

– Чего тебя не устраивает? – огрызнулся Никита Егорович.

– Освободится он! Ха!

– А что, и там нет свободы?

– От чего? От себя что ли?

Однако лифт остановился на пятом этаже, где находилось кардиологическое отделение. Никита Егорович направился по коридору в свою палату, с досадой спрашивая себя, что это с ним было минуту назад, о какой свободе он бредил. Уж не считает ли неволей то, что жизнь продолжается? Совсем уж чего-то ум за разум заходит.

## В палате

Все обитатели палаты оказались на своих кроватях, ждали лечащего врача, Ларису Александровну, красивую блондинку лет тридцати с чувственными свежими без помады губами. Никита Егорович не сомневался, что в обычной жизни была она и смешливой, и озорной, но в белом халате держалась солидно, была серьёзной до невозможности, и это явно тяжело ей давалось. Никита Егорович с трудом сдерживал смех, когда она, сидя рядом на кровати, измеряла ему давление стетоскопом и потом говорила строгим поучительным голосом:

– Вот видите, уже лучше. Давление мы сбили. До завтрака пройдите по коридору от конца до конца семь раз быстрым шагом. Если почувствуете боль в груди, отдохните и подойдите ко мне. Хорошо? После обеда – узи сердца. Не забудете?

Никита Егорович смотрел на её продолговатое нежное лицо и представлял, как она смеётся рядом со своим парнем, как озорно скачет в танце в дружеской компании, как бежит вниз по лестнице в коротком платье, помахивая белой сумочкой. Обручального кольца на безымянном пальце не было, значит – не

мужняя, но едва ли одинокая, потому что много было в ней довольства. Всё её тело, лицо, глаза говорили только о том, как хорошо Ларисе Александровне жить на свете. Счастливый человек излучает тепло вокруг себя, Никита Егорович не раз это замечал. Сколько раз в жизни и сам был счастлив, и тогда окружающим его людям было уютно с ним, он это чувствовал.

Больные ещё не успели надоесть Ларисе Александровне, и она к ним относилась внимательно. Правда, иногда подопечных слушала сквозь свои какие-то хорошие переживания, и едва ли жалобы их доходили до её сердца. Да и нужно ли врачу чужую боль воспринимать так уж остро, важно правильно лечить, разбираясь в болезни. На всех сердца не хватит. Понимая это, Никита Егорович ни на что не жаловался, а всё больше старался с Ларисой Александровной шутить, но она не поддерживала легкомысленный тон.

Кроме Никиты Егоровича в палате обитали ещё трое сердечников. Мужчина лет пятидесяти, сильно похожий на бобра, назвался Сергеем. Маленький, пузатенький, майка короткая, штаны спортивные приспущены, и низ пуза всегда голый. Его круглое щекастое лицо сохраняло одно и то же выражение покоя и полного самодовольства.

Этот человек крепкими, крупными зубами постоянно грыз яблоки и читал книги, которые приносила жена. Жена такая же полненькая, круглолицая, с тугими, как мячики, щеками. Редкой похожести парочка, будто из одного теста колобки. Временами Сергей доставал блокнот и что-то подолгу записывал, отрываясь только на то, чтобы взять с тумбочки яблоко и хрустко откусить большую долю, во весь рот.

Потом выяснилось, что он какой-то научный работник, занимается социоло-

гическими исследованиями, о которых в подробности не пускался. Зато однажды что-то нашло на него и он живо стал рассказывать, как служил в десантных частях, как страшно было поначалу прыгать с парашютом, но человек ко всему привыкает, и потом он вываливался из самолёта совершенно спокойно. Иногда прыжки сняты ему.

Общих разговоров в палате происходило мало, сердечники были сосредоточены на своём самочувствии и держались отстранённо друг от друга, прямо-таки в духе времени. Рядом с научным сотрудником, пожирателем яблок, занимал кровать молодой парень, но вскоре он выписался, а его место занял щупленький, сутулый и тихий даже в походе лет семидесяти мужичок. Никита Егорович долго гадал, чем этот человек занимается в жизни и склонился к мысли, что новичок, скорее всего, преподаёт в школе, к тому же в начальных классах. Но оказалось, что с молодости и до сих пор служит кладовщиком на какой-то фабрике. К лечению он относился очень обстоятельно, после каждой процедуры говорил с явным удовольствием:

– Вот и укол сделали.

Или:

– Вот и капельницу приняли.

А то уходил куда-то, но обязательно отмечал, возвращаясь:

– Вот и кардиограмму прошли.

Конкретно никому не адресовал свои слова и ответа не ждал, а тихонько, обстоятельно, без суеты располагался на кровати и разворачивал газету. Но однажды его тоже прорвало, как научного сотрудника, и он начал говорить о том, как не раз пытался навести порядок с документацией на своём предприятии.

– Всего месяц работы на компе, – сказал кладовщик с таким видом, словно никак не мог пережить обиду. – А директор

не согласился.

– Он что дурак, директор? – удивился третий обитатель палаты, сидя на краю кровати и слепо нащупывая ногами тапочки.

Увидеть их ему было затруднительно из-за объёмного живота.

– Так ведь бардак! – внутренне возопил честный кладовщик, но голоса не поднял, а наоборот снизил до шёпота.

– Ему выгодно, когда непонятно, что куда девается, – объяснил толстяк очевидное. – Накладные переписал, навар.

– Так же нельзя!

– Можно, – уверенно заявил толстяк и поднялся, выловив тапочки. – Теперь всё можно.

Никто ему не возразил, значит, все на своём опыте знали – можно.

Когда этот грузный человек впервые появился в палате, Никита Егорович сразу определил – боцман, и на этот раз не ошибся. Рост под два метра, широкие покатые плечи, тяжёлые кулаки, багровое лицо с крупным носом, белесые глаза навывкате, но главное – раскатистый голос, от рокота которого дребезжали оконные стёкла. В мультиках рисовали пиратских боцманов точно такими. И живот, конечно, не малый штрих к портрету. Как он только носил такой бурдюк?

Этот человек сразу расположил к себе Никиту Егоровича тем, что был лишён всякого притворства – что на уме, то и скажет. Напоминал он этим малого ребёнка, но как позже оказалось, очень капризного и эгоистичного. Если что ему нужно, прёт напрямиком, из рук тарелку выхватит в столовой, на процедуру пройдёт, не замечая очереди, включит свой транзистор во всю мощь и лежит сколько-то, слушает, а потом начинает безбожно храпеть, и приходится выходить из палаты, потому что получается многовато звуков. Всё это он делает без особого намерения, не со

злости, конечно, просто не приходит ему в голову, что кому-то может мешать. Ну, что с него возьмёшь!

Жене он звонил десять раз на дню и всегда начинал разговор с одной и той же приговорки:

– Добрый день, весёлый час, что мы делаем сейчас?

Видимо, жена докладывала, чем она занята, он повторял, кивая, – «одобряю!» – и заканчивал тоже заготовкой:

– Ну, давай, не скучай! Выпей кофе или чай!

Улучив момент, он каждому в палате отдельно рассказал историю о том, как поднялся на пятый этаж и почувствовал, что сердце стало биться с перерывами. Конечно, и Ларисе Александровне поведал. А однажды вместо неё пришла другая женщина-врач, сказала, что заменяет Ларису Александровну, на этот день занятую чем-то. Боцман тут же воспользовался случаем и выдал в подробностях, как с ведром дачных помидор – откуда оно появилось на этот раз? – поднимался по лестнице на пятый этаж, на котором находилась его квартира, и почувствовал, что сердце сильно заколотилось, потом замерло, да снова неровно заметалось, так что пришлось остановиться. С тех пор часто такое с ним происходит.

– Давно аритмия? – спросила женщина.

– Года три, – ответил боцман.

– Ну, так чего с ней бороться? – вздохнула она и перешла к другому больному.

Боцман потом весь день повторял:

– Как это чего?

Только назавтра Лариса Александровна успокоила его, что будет лечить, как положено, и не надо ему тревожиться.

Фамилия боцмана была – Хмельников. Он явно оправдывал её, красные прожилки на носу остались следами многих застолий. Да и о чём бы боцман ни рас-





сказывал, всегда завершал одинаково:

– Ну, и выпили, конечно.

В прежние времена Никиту Егоровича сильно занимали новые знакомства, и он любил заводить беседы, на что обычно люди отзывались с охотой. Человек обожает поговорить о себе родном, особенно с тем, с которым как встретился, так и расстанется. А с боцманом так уж точно сошёлся бы в согласии, походил бы с ним по морям-океанам, потолковали бы немало о морской бытности. Теперь Никите Егоровичу хватило того, что он уже знал о своих соседях по палате, с которыми свела судьба на какой-то срок. Большого интереса не было.

А вот Сём Вань опять вернулся. Он и при жизни приходил, когда ему заблагорассудится, в дверь не стукнет. Собственно, в селе как-то и не принято было стучаться. В окно ж увидишь, да и слышны шаги на крыльце. Понятно, кто-то идёт. Ну, иной раз кашлянут, знак подадут таким образом. Да и кто в какие веки гостю не рад был? В Мужах-то, в тогдашних!

Пришла сестричка, ловко ввела иглу в вену и включила капельницу. Теперь лежи себе в неподвижности и думай о старинном приятеле.

По жизненным наблюдениям Никиты Егоровича есть люди, на которых с ранних лет и всю жизнь отчего-то злится судьба, как цепная собака. Непрестанно сыплются на них несчастья, будто идут они по жизни под непрерывным камнепадом, который из какой-то непонятной вредности устроила судьба, неугомонная и не знающая усталости.

Так художник сделает карандашный набросок, да найдёт его неудачным, обозлится и давай стирать ластиком. И возникший, было, образ исчезает под его настойчивой рукой, так что и следа не остаётся на чистом листе бумаги. Вот и судьба с тем же старанием изгоняет не-

любого человека, будто его присутствие на свете её раздражает.

Но если художнику без особой сложности удаётся справиться с оплошкой, то судьбе иной раз приходится изрядно попотеть. На долю Сём Ваню выпали многие испытания, не обошли его беды и тяготы жизни. Это несомненно так. Только для судьбы он оказался таким орешком, об который не один зуб сломаешь. И вот что ещё чудно было Никите. Многие люди верят, что от судьбы никуда не денешься, но реального представления об этой особе не имеет, и только один человек в жизни Никиты Егоровича говорил о ней с той определённой, как можно судить о соседке или какой-то знакомой. Скорее всего, именно то обстоятельство, что она была для него реального облика, давала Сём Ваню силы безбоязненно бороться с ней, со злоюкой.

– Рыжая она, – заявил как-то, сильно удивив Никиту, Сём Вань.

– Да с чего решил? – не поверил Никита.

– А какая, если не рыжая? И глаза завидушие.

– У судьбы? Завидушие?

– А то как же! Она ж безмужняя. А баба без мужика... Понимать должен, уже не маленький.

– Так вышла бы замуж, – в шутку предложил Никита.

– Не может. Нет у неё главного бабье-го элемента.

И словечко же нашёл! Вообще Сём Вань никогда не матюгался, по крайней мере, при Никите такого случая не было, и то, что сельские мужики смачно и аппетитно называли, как есть, он мягко определил – элемент. Культура. Куда от неё денешься?

– Откуда всё знаешь, дядь Вань? – не отступал Никита. – Будто видел судьбу.

– А вот и видел.



- Как видел?
- Во сне, конечно.
- А-а, во сне-е...

– Так ведь не раз. Всю жизнь. Как при-  
снится, жди подарка.

Никите уже лет восемнадцать было, когда этот разговор склеился, и он до-  
тошно расспросил о ночной гостье. Гру-  
дей нет, выяснилось, выглядела спереди,  
как подросток, но и сзади ниже пояса  
тоже не имела никакой выпуклости, пло-  
ская была, как доска, лицо рябое после  
оспы, глаза злющие, какие бывают у свар-  
ливых старух, которых всё вокруг бесит,  
волосы густые, огненно-рыжие, спута-  
лись копной на голове, не расчесать.

Этот портрет навёл Никиту на мысль,  
что Сём Вань не привирает ради балов-  
ства, да и не имел он привычку измыш-  
лять на пустом месте, так что за ликом  
судьбы стоит что-то конкретное. В другой  
раз Никита по хитрому умыслу спросил,  
кого Иван Иванович боялся в детстве  
больше всего – лешего, водяного, банни-  
ка, кикимору болотную...

– Старшую жену хозяина, – аж пере-  
бил Никиту Сём Вань, так легко выскочил  
у него из памяти детский страх.

От старости и болезней первая жена  
хантыйского князька, в чуме которого  
оказался приёмным Сём Вань, так по-  
дурнела, что своим видом пугала людей,  
от чего муж даже смотреть на неё пере-  
стал. Он пренебрежительно говорил о  
ней, что она всегда была «хапторкой». Так  
называют бесплодную оленью самку. По-  
чему-то старуха всю свою накоплен-  
ную злость вымещала на Иване. Может,  
её злило то, что третья жена князька по  
имени Айна была всего на пять лет стар-  
ше подростка и всегда старалась подло-  
жить ему за едой лучший кусок мяса. Ко-  
нечно, делала это незаметно от хозяина,  
но старая карга же видела и тут же вски-  
пала застарелой злостью. Донести мужу

она боялась, Айна и побить может. Увечит  
старуху, совсем она не нужна будет, оста-  
вят в тундре умирать, а стадо уйдёт. Да и  
понимала старая, что хозяин не ей пове-  
рит, а той, с которой ему сладко спать в  
одной постели.

Вот эта озлобленная женщина и сни-  
лась Семко Ваню, а с годами он приучил-  
ся думать, что так выглядит его судьба.  
Всё просто и ясно. Никита в ту пору был  
большим реалистом и диалектиком. Это  
теперь он впал в детство и считает, что не  
всё на свете просто и далеко не всё ясно.  
Жизнь – сплошная загадка, её в русло не  
загонишь, берегами не оградишь.

Смущали Никиту рыжие космы стару-  
хи. Они ж, хантыйки, каковой она была,  
черноволосые, как индианки. А тут! На  
вопрос Сём Вань развёл руками.

– Я откуда знаю? – вроде даже воз-  
мутился он и скромно добавил: – Среди  
приезжих купцов бывали и рыжие.

Что же касается самого Сём Ваня, то  
Никита со временем от него же и узнал  
подробности его бытия на белом свете.

Родился Иван Семёнович Беляев в  
самом начале прошлого века. В тундре  
свидетельств о рождении тогда не вы-  
писывали, не было ни бумаги, ни ручки и  
грамотеев тоже. Так что точная дата неиз-  
вестна. Родители могли, будучи наездом  
в селе, окрестить мальчика, по поводу чего  
в церковной книге осталась запись. Да  
где та книга? Сожгли, небось, атеисты с  
иконами вместе во имя революции.

Родители и все остальные люди стой-  
бища умерли от цинги, а остался жив  
только он, пятилетний мальчонка. Его  
нашёл оленевод, который искал новые  
пастбища. Был он многодетным, ему до-  
весок ни к чему оказался, и по этой при-  
чине продал находку местному бездетно-  
му князьку. При нём Иван и рос. Князёк  
в старости обезножел, и жилистый Иван  
таскал его на руках и на загорбке.



Однажды в стойбище приехал на двух нартах отряд красногвардейцев из трёх человек с длинными винтовками. Они принесли новость – большевики скинули царя и теперь наводят новый порядок. Князька при его батраках и жёнах били, допытываясь, куда он спрятал золото.

Скорее всего, у князька никакого золота не было, род его обеднел, исхудал и кончался на нём. Одно только название осталось – князь. Старшая жена, понятно, родить не могла. От второй жены тоже князёк не дождался ребёнка. Тогда он женился на совсем молоденькой, но уже сам к тому времени постарел. Может, и прежде сам виноват был, но не признавал этого и почём зря лупил жён. На третью руку не поднимал, любил шибко. Она же пошла за него, потому что иначе умерла бы с голоду.

Один из бойцов, ведя допрос, перестарался и в сердцах заколол штыком старика. После этого красногвардейцам больше нечего было делать в стойбище, они загрузили на нарты, что нашли нужным, особенно ящики с «огненной водой», собрались ехать. Тут старая карга, первая жена князька, крючковатым пальцем показала на Ивана и сказала, что это сын убитого, и он что-то знает. Иван не походил на ханта, но на всякий случай его забрали, а вдруг и впрямь знает, где золото. Да и каюр нужен был, упряжек прибавилось. Но и Айну тоже решили увезти, потому что ей, сказали они, надо учиться в школе. Советская власть всех детей учит грамоте, а она ещё ребёнок, собственно. Жертва кровососа, эксплуататора.

Аргиш из семи нарт двинулся в сторону села, которое находилось в трёх днях езды. Если бы не охотничий домик, всё могло сложиться иначе. Но на пути оказалась избушка, – это уже тундра кончилась и началась тайга, правда, пока ещё малорослая, – и красногвардейцы реши-

ли переночевать в охотничьем домике. Хозяин на этот случай, как принято, оставил сухие дрова и огниво.

Молодые мужики выпили водки, благо, было её вдоволь, вытолкали на улицу Ивана, а молоденькую «жену классового врага» оставили. Иван мог забраться под шкуры на нарте и спать. Но он сидел с оленями и плакал. Мужики долго шумели, много смеялись, потом уснули. Из домика выбралась Айна. Она была в малице и села прямо на снег, низко опустив голову. Иван шагнул к ней, но она испуганно крикнула:

– Не подходи. Я поганая.

Иван тоже опустился на снег, и долго они так сидели. Потом Иван подобрал палку и поставил её у двери. Сам прошёл в избушку и вышел с головнёй. Печь всё ещё топилась. Иван просунул палку через ручку и запер таким образом дверь, она открывалась во внутрь, как положено на севере. А то снегу навалит, не откроешь. Просохшая за долгие годы избушка легко вспыхнула от головешки. Иван подошёл к Айне, поднял её на руки и отнёс на нарту. Рядом полыхало пламя. Внутри никто не проснулся, криков не было слышно. Они задохнулись от дыма во сне. Иван повёл первую упряжку. За ней потянулись остальные. Он приехал в стойбище. Люди были рады, что он вернул и муку, и головки сахара, и соль, и водку, и ни о чём не спрашивали. Должно быть, догадывались. Теперь можно было жить дальше и спокойно каслать в сторону моря.

Хозяин охотничьей избушки, видимо, известил власти о пожаре, когда обнаружил пепелище. Сочли, видать, что мужики сгорели по неосторожности. А олени ушли в тундру. Где их найдёшь? Скорее всего, в стадо вернулись. А где то стадо? В каком чуме побывал отряд – никто ж не скажет.

Стадо паслось у моря, пришла весна,



все радовались ей, но беда шастала своими путями. Айна была на втором месяце беременности, когда приехали красногвардейцы. По возвращению в чум у ней случился выкидыш, кровь остановить не удалось, она умерла. Иван похоронил её в тундре, долго сидел над могилой и вспоминал, как хорошо им было тайком от всех любить друг друга.

– Муж старый, слабый, – говорила Айна, – ты молодой, сильный. От тебя у меня будет ребёнок.

Ивану в ту пору было лет шестнадцать. По прикидкам Никиты, случилась эта история в двадцать втором году, когда в этих краях устанавливалась советская власть.

Так началась жизнь Семко Ваня.

## Динозавр

– Ну, вот и капельницу приняли, – тихим улыбчивым голосом проговорил кладовщик и поднялся с кровати, согнув руку с ваткой в локте.

Он стоял в проходе между кроватями, сутулый и плоскогрудый, и смотрел на Никиту Егоровича, которого сестричка освобождала от капельницы. Она выдержала иглу и прижала к месту укола ватку.

– Держите.

Ловко и споро прихватив устройства с капельницами, девушка вышла из палаты, важно неся их, как канделябры. Никита Егорович поднял взгляд на кладовщика. А тот только этого и ждал.

– Один месяц работы на компе, – доверительно пожаловался он, явно думая о своём директоре. – И можно навести порядок.

– Где? – сухо спросил Никита Егорович. – В государстве?

Добродушно-мечтательная улыбка сошла с лица кладовщика, он отвёл взгляд и потерял интерес к возможному себе-

седнику. Зря, конечно, Никита Егорович сбил человека с колеи сокровенных мыслей, но тот сам виноват, полез со своими прожеками не вовремя. Никита Егорович как раз выяснял для себя, с кем это у него в лифте завязался разговор. С самим собой? Ерунда какая-то! Сам спросил, сам ответил? К чему такой диалог-то устраивать? Не пьесу сочиняешь.

В детские годы Никита, наслушавшись своих бабушек и тёток, искренне верил, что существует в природе точная его копия. Это невидимый образ, который живёт в воздухе и ничем Никите не мешает, как собственная тень. И только иногда он даёт о себе знать то вещим сном, то предчувствием. Зовут этого двойника – Орт. Но в Мужах, помнится, бабки называли его Ёртом. А Ёрт по коми означает – друг. Орт или Ёрт может предсказать смерть своего хозяина родственникам, предупредить заранее, чтобы те готовились. А после смерти душа покойного переходит в него, и в течение сорока дней бестелесный двойник обходит все те дороги, по которым прошёл человек при жизни, и прощается со всеми, кого он знал на свете.

До этого момента бабки и тётки были весьма осведомлены, а уж потом куда девается двойник со своей ношей, того бабки не знали и не болтали зря.

Во взрослой жизни в кутерьме забот и в кругу многочисленных друзей Никита Егорович про Орта забыл. А в старости снова захотелось по-детски верить, что не так уж он одинок, кто-то всегда и повсюду с ним, знает о нём больше, чем он сам, и не только не оставит его до конца жизни, но и потом устроит уставшую душу.

Иной Фома неверующий тут же и скажет, что нет никаких научных доказательств того, что какие-то орты-ёрты водятся. Так ведь и никто документально не



подтвердит, что их нет. В общем, как по всякому случаю и по этому поводу можно бесконечно спорить и ни к чему не прийти. Однако на диспуты Никита Егорович времени тратить не станет, не надо никому ничего доказывать, если в нём уже прижилось явственное чувство, что не сам он себя упрекнул:

– Освободится он! Ха!

И не сам над собой усмехнулся:

– От чего? От себя что ли?

Не сам. Это уж точно.

«А раз уж точно, то и ладно», – усмехнулся Никита Егорович, довольно бодро поднялся с кровати, бросил ватку с пятном крови в мусорную корзину и вышел из палаты в коридор с большими окнами по торцам. На уровне плинтусов были отметки через каждые десять метров, и весь коридор составлял стометровку. Ровно на середине коридора по одну сторону располагалось фойе, служившее столовой, а по другую – находилась просторная лестничная площадка, на которой вдоль глухой стены, напротив лифта, стояли массивные кресла явно прошедшей эпохи, солидная мебель, из настоящего дерева, сколоченная на столетия. Кресла было не сдвинуть с места, будто они вросли в пол, пустили корни. И все они обладали одним оригинальным свойством – пружины сидений давно провалились, не выдержали многолетнего напруга, и зад проваливался буквально до пола. Но как ни странно в такой позе, – с задранными по грудь коленями, – было удобно сидеть. Правда, вставая, приходилось елозить и упираться руками о подлокотники, чтобы выбраться из ямы.

Обычно кресла всегда были заняты, а в это предобеденное время никого не оказалось. Сердечники прогуливались с кружками и ложками в руках по коридору, занимали места за столиками, стояли в очереди. Раздатчица уже открыла дверь

своей подсобки и гремела кастрюлями. С минуты на минуты будет подавать завтраки. Никита Егорович обычно выждал, пока не отхлынет народ, и ел одним из последних.

Он с удовольствием провалился в кресло, заодно попытался погрузиться и в полный покой, даже глаза закрыл. Но в голове замельтешили клочьями какие-то воспоминания, отдельные картинки, забытые лица, обрывки разговоров. В памяти сходились события полувековой давности со вчерашними хлопотами, и не уловить было связи между ними. Но почему-то ж оказывались рядом?

Можно было подумать, что некая доморощенная запасливая Пандора вытряхивала из объёмного мешка моменты жизни, а вихрь подхватывал эти лохмотья и кружил вокруг Никиты Егоровича, от чего голова шла кругом. Ещё ведь и хуже бывало, проснётся ночью, и вот начинают его мучить какие-то давние происшествия, нелепые поступки, собственные ошибки, которые уже не исправить, а он хватается за голову, скрежещет зубами, терзается совестью. Не так сказал, кому-то нагрубил, кого-то зря обидел... Теперь-то что с того? Многих уже и в живых нет! Не побежишь, не рухнешь на колени, не попросишь прощения.

В столовой суета поднялась, большие усаживались обедать. Никита Егорович смотрел на людей через стеклянную перегородку, отделявшую от коридора лестничную площадку, и чувство жалости охватило его, когда подумал, что никому они не нужны. В эту старую, не престижную больницу карета «скорой помощи» привозила, видимо, только пожилых людей. Молодые и среднего возраста встречались редко и явно чувствовали себя чужими, оказавшись не в своей стае. В основном были люди пенсионного возраста, в большинстве своём уже перева-

лившие за семьдесят годков.

Теперь они сидели за казёнными столиками и старательно ели невкусную больничную пищу, чтобы насытить себя и набраться сил для дальнейшего пребывания на белом свете. Они цепко держались за жизнь, не теряли надежды подлечиться, и если понимали, то боялись думать о том, что уже никому не нужны, кроме родных разве, и то сомнительно. В древние времена оленеводы-ханты оставляли одряхлевших стариков в тундре умирать, потому что становились они большой обузой и без того в тяжкой кочевой бытности. Те дикие, но вынужденные нравы похоже вернулись к цивилизованным городским людям. Никита Егорович знает десятки примеров, когда дети отделялись от родителей, отправляя их в дома престарелых, мало пригодных для уютной старости.

«Мы стали не нужны, – думал Никита Егорович, провалившись в кресло, как дитё в горшок, великоватый для его задика. – Ещё сердца наши полны чувств, ещё глаза радуются солнечному свету, ещё надежды не оставили нас, но мы уже списаны из команды и лишние на корабле жизни. Своей беспомощностью и бесполовостью мы мешаем в автобусах и метро, одним своим видом вызываем досаду у молодых и сильных, и они стараются отвернуться или отойти от нас, будто можно отвернуться и уйти от будущей своей неизбежной дряхлости. «Сидели бы дома, – проворчит иной. – Что им ещё надо?»».

Да Бог с ними, с людьми! Мы не нужны государству, мы ей в тягость. Аналитики пишут, что стариков становится всё больше и вскоре сравняются по числу с трудоспособными людьми. Откуда брать деньги на пенсию для такой оравы? Самое выгодное для государства, чтобы люди доживали до пенсии и дальше не тянули

волынку. Никто в этом не признаётся, но Никита Егорович почему-то уверен, что так думают многие власть имущие.

Да чёрт с ним с государством, в конце концов! Куда печальнее сознавать, что мы не нужны природе. Ну, какая от стариков польза для вечно обновляющейся жизни? Чем быстрее исчезнут, тем больше пространства останется свежим силам. Породил детей, посадил дерево, дом построил для потомства и хватит с тебя. Так кусты смородины под окном дачи Никиты Егоровича отдадут плоды, и листва начинает жухнуть, опадать. Всё, хватит с них, отслужили за это лето, отдыхайте. Так то кусты, а у человека не будет другого лета. Он отслужил и стал не нужен навсегда».

Умом Никита Егорович понимал, что подобные мысли не должны его угнетать и печалить. «Что неизбежно, то не зло», – нашёл он даже утешительное выраженьице. А что ещё ему оставалось? Изменить мироздание? И ясно же видел Никита Егорович единственный способ смириться с неизбежным – это утишить желания, погрузиться в этакое полусонное состояние, что иначе можно назвать ленью. Нашему человеку лениться свойственно и даже приятно. Можно даже найти ей некое возвышенное объяснение.

– Чего сидишь?

– Созерцаю.

И уже он, видите ли, не бездельник, а философ. И так можно жить. Сиди на крыльце дачи, смотри на небо, на деревья, на свисающие с ветвей яблоки и дыши ровно. Чем плохо? Но почему-то же не устраивает Никиту Егоровича этакая трогательная идиллия. И лезут в голову разные вопросы, и самый из них егозливый – зачем?

Как-то подумалось ему, что он шибко напоминает марафонца, который уже



пробежал сорок два километра и с прежним упрямством одолевает оставшиеся метры до вожделенного финиша. А некий тип с обочины кричит ему весёлым голосом: «Чего стараешься?! Соревнования уже кончились, зрители разошлись, а судьи чувствуют победителей за хмельным столом! Тебя никто не ждёт!»

Если борьба для него закончилась, зачем этот холостой бег? А если он, прирождённый бегун, остановится, то кому уподобится? Сойдёт на обочину и будет смотреть, как перегоняют друг друга те, для которых состязания не закончились? А это надо ему?

Все эти вопросы и вопросики пришли на ум с недавних пор. И теперь Никите Егоровичу думается, что он даже и знает тот момент, когда одна непредвиденная встреча выбила его из привычной колеи, и в одночасье, как тучи, нагнала не самые радужные мысли.

Что за нужда потянула его на киностудию, объяснить не мог. Поплёлся чего-то, старательно отдраив туфли бархоткой. Уж не Ёрт ли подтолкнул в загривок, мол, тебе для полного прояснения мозгов следует прогуляться именно туда?

Более тридцати лет Никита Егорович верой и правдой служил этой киностудии, как добровольный раб, счастливый от неволи. Как теперь помнится, иногда, в разгар работы над каким-нибудь фильмом, студия бывала роднее собственного дома. Ему казалось, что он занимается архиважным делом, и все его друзья-товарищи по работе были настроены так же точно.

Теперь всё видится иначе, не в таком радужном цвете. Нет нигде такого оголтелого эгоизма, как в творческих коллективах. Ну, ещё на базаре, может быть. Ради собственного успеха и друзей предавали. Как легко кидались в объятия, так же легко и расставались. Уходили, не оглядыва-

ясь. Всё было.

Почему-то именно эти не слишком весёлые мысли крутились в голове, когда Никита Егорович оказался в стенах киностудии и поднимался по лестнице на второй этаж, а затем шёл по долгому коридору. С одной стороны тянулись закрытые двери комнат, а с другой – сплошная стена, за которой находились съёмочные павильоны. Если бы не слабые иллюминационные лампы на потолке, то пришлось бы идти в сплошной темноте на светлый квадратик окна в торце похожего на туннель коридора.

Тысячи раз ходил Никита Егорович по этому истёртому и его подошвами неровному паркету. Когда-то ноги сами несли его, и лёгкость была на душе, а теперь чувствовал себя сиротливо и брёл неприкаянно. Студия казалась пустой и необжитой, после сокрушительных девяностых она так и не ожила полностью, тихонько как-то ещё трепыхалась, но, скорее всего, – дышала на ладан.

В конце коридора из какого-то кабинета вышел человек и направился навстречу. Издали Никита Егорович не опознавал идущего, а тот уже взмахнул руками, как чёрная птица узкими крыльями, должно быть, зрением-то был зорче, и воскликнул издалека:

– Кого я вижу! Вот это да!

Теперь и Никита Егорович, но больше по голосу, догадался, кто это ему так обрадовался. Это был актёр, с которым на каких-то съёмках приходилось сталкиваться, но короткого знакомства не было. Как его звали, Никита Егорович не помнил, но фамилия его была залихватская – Удальцов. Он был невысок ростом, полноват, по годам – за пятьдесят, но явно молодился, подкрашивая волосы, и всеми жестами, мимикой и речью не забывал подчёркивать актёрское умение. Он издали протянул руку и будто на об-



ширный зрительный зал зарокотал басовитым посаженным голосом:

– Сударь, дивлюсь, дивлюсь! Я уж думал – нет, а ещё остались динозавры, оказывается. Ну, здравствуй, здравствуй, дорогой!

Тоже не помнил, как зовут Никиту Егоровича, но изобразил на лице столько радости, словно встретил дорогого для себя человека, без которого даже непонятно, как жил до этой минуты. Однако – и тоже актёрский навык – чувствовать партнёра! – заметил по лицу Никиты Егоровича, что переборщил с «динозавром» и излишне старательно расхохотался.

– Это на днях у меня брали интервью, значит, – стал он доверительно объяснять, хватаясь за язычок молнии на куртке Никиты Егоровича. – О вашем поколении речь зашла. Я говорю – какое кино делали! А она мне, журналистка: – «Вы ещё динозавров вспомните!» Мол, устарили они для нашего времени. Вы, значит, ваше поколение то есть. «Может, и динозавры они, говорю, но они были. А теперь никого нет. Все безликие». Ну, скажи, не прав? Прав!

И перешёл на сочувственный тон, стал спрашивать, как здоровьице, как можется при нынешних-то пенсиях, да чем занят.

– А ничем, – ответил Никита Егорович. – Сижу на даче, созерцаю.

– Мудро! – воскликнул артист, жадно ухватил руку Никиты Егоровича, потряс энергично, набычился и пошёл почему-то развалистым шагом, загребая правой рукой и чуть сутуля широкую спину, будто играл революционного матроса Железняка, только что прихлопнувшего из револьвера «контру» и потому преисполненного чувством исполненного долга.

Уже пройдя несколько шагов, обернулся и поднял кверху указательный палец.

– Мудро! – подтвердил он своё мнение.

Ведь по сути человек ничего плохого не хотел Никите Егоровичу, даже мысли у него не было обидеть, а совсем даже наоборот – уважение выразил, но уж так, видимо, устроена душа человека, что в иную пору и без злого умысла брошенное слово её поранит. Тут не было вины артиста, и не слово на лету превратилось в булыжник, а душа была готова к открытию, можно даже возвышенной сказать – к постижению. Чего? Истины, конечно. Вот оно и случилось, распахнулись резные ставни, и увидел себя Никита Егорович посреди сумрачного коридора с облезлыми стенами в полной реальности. Динозавр!

Сделав ещё несколько шагов, Никита Егорович остановился, поняв, что идти некуда и незачем. Вообще-то намеревался повидать режиссёра, с которым хотел поделиться с возникшим замыслом. Они вместе сделали три картины и знали друг друга неплохо. Но в эти минуты ему показались смешными и сам замысел, и желание ещё поработать в кино. Всё ушло, всё позади. Впереди – блеклый квадратик немытого окна в конце коридора. Белесое размытое пятно, скучное и унылое...

Никита Егорович повернул назад и пошёл поспешным шагом, опустив голову и опасаясь встретить ещё какого-нибудь знакомого, но всё обошлось, выскочил на улицу, сбежал по ступеням и направился в проулок, чтобы поскорей уйти от киностудии, скрыться, исчезнуть и никогда не возвращаться.

Он вспомнил, как много лет назад перед ним, молодым редактором, сидел пожилой человек, когда-то процветавший в своей профессии, и слушал рассуждения Никиты по поводу своего опуса. Он не мог понять, почему его прежде хвалили, а теперь никого не устраивает его труд. А беда была в том, что он оставался за резными ставнями и не видел того, что вре-



мена за окном поменялись, и он оказался динозавром.

Никита Егорович шёл мимо длинного свежеекрашенного бетонного забора, невинной белизной которого тут же и воспользовались юнцы, вспыхнув страстью пращуров к настенной живописи. Хорошо, хоть избежали в своём граффити самого русского слова из трёх букв, что наглядно говорило о возросшей культуре.

Написать бы аршинными буквами: «Вот и всё!» И пусть бы прохожие гадали, что это за отчаянный крик. Но писать было нечем, не припасся баллончиком краски. Да и кто стал бы гадать? Скользнул бы чей-то равнодушный взгляд, да подумал бы озабоченный ум – сколько в людях глупости!

Очень давно автор с блеклыми губами так и не понял, почему он должен уступать дорогу молодым, а сегодня Никита Егорович оказался на его месте. Все-му приходит конец, но дело не в этом.

А в том дело, что мысли Никиты Мехова приняли неожиданное направление. Он и в прежние времена над этим задумывался, но как-то вскользь, только по настроению, а теперь спрашивал себя с той настойчивостью, от которой уже не отвертеться, не увильнуть – тем ли он занимался в жизни? Когда-то в молодые годы стоял на перекрёстке. Правда, камня не было с указующими надписями – куда пойдёшь, чего найдёшь. Надписей не было, но дороги были, и не три, а куда больше. Вот Никита и выбрал себе одну, да побежал по ней резвой рысцой, а теперь оглянулся и подумал задним умом – туда ли свернул? Может быть, выбери он другую дорогу, шёл бы себе ровненько и шёл, день на день был бы похож, и заботы оставались бы те же, что были год назад, десять и сорок лет тому... Но выпала на долю далеко не спокойная жизнь, а временами несло его, как в пенном потоке горной реки.

Ну, и кого он спрашивает – туда, не туда свернул? Кто ему ответит? Ёрт что ли? Так он-то причём? Он же не ставит вехи по целине – куда идти, и не стелет соломку – где упасть. Тут судьба потрудилась. Это её затеи. Вот бы кого в гости позвать, посадить за стол на кухне, да всю ночь проговорить начистоту. А с кем ещё толковать о том, что занимало Никиту Егоровича в эти дни? Только с ней. Он ведь думал о своей прожитой жизни, а кто её плёл да вил то из шёлковых ниток, то из крапивы? Тут и спрашивать нечего.

Ну, так ведь не придёт в гости, ей не позвонишь, не напишешь, до неё не докричишься. Никита Егорович у неё, как на ладонях, весь наизнанку, а он её не видит, не слышит, только по делам судит – то она погладит, то подгадит. Вот так и прошли по жизни рядышком...

Но уже пора было идти отведать бо-льничных кулинарных изысков, столики освободились, и Никита Егорович стал выбираться из кресла.

## Анюта

После насильственной смерти князька мужики перессорились между собой, а жёны и дочери помогали им вести междоусобицу за место убитого хозяина. Свара длилась больше года, и конца не было видно. Новая власть тогда ещё не придумала колхозы, кому-то одному должно было достаться стадо оленей. И на него обязаны были работать остальные батраки. Но каждый из мужчин стойбища хотел взять первенство, оттого и кипела ссора. Мужики то и дело дрались, то один с одним, то другой с другим, и с утра до вечера ругались женщины. Даже до смертоубийства дошло, пастух острым медным наконечником хорее – настоящая пика! – пропорол живот приятеля, чтобы доказать, кто из них главней. Прежние друзья

смотрели друг на друга волками, неразлучные приятельницы шипели друг на друга, как кошки, а то и цеплялись за волосы, дети ничего не понимали и боялись даже играть.

В стойбище творилось то, что и на всей Земле, – между людьми шла злобная борьба за лучшее место под солнцем. Оставаться в стойбище без Айны не было смысла Ивану, в общей сваре участвовать не хотел, – верх он не возьмёт, а в батраки не согласится, – и от того запряг упряжку из лучших молодых олешек, прихватил снеди и поехал в сторону тайги.

Ехал долго. Выбрался на мёрзлое ложе реки и направился вдоль крутого берега, на котором вероятней было наткнуться на поселение. Погода была тёплой, а снег на льду реки оказался не глубоким, так что олени бежали охотно, а Ивана грели надежды, и прошлое всё глубже оседало в памяти, как муть в сосуде. Молод был, хотелось жить.

В своих предположениях Иван не ошибся, среди общего безлюдья почувствовал он запах дыма и через какое-то время увидел на крутом берегу три домика, а вернее – юрты. Так они тут назывались. Иван заехал на взгорье и в двух юртах не заметил признаков жизни. Двери были подпёрты кольями, чтобы ветер случайно не распахнул. С северной стороны снегу намело по окошки, и за зиму явно никто не разгребал. Но из средней юрты через крышу пробивался дымок. У входа, будто стройные часовые с пышными папахами на головах, стояли две сосны.

Оставив упряжку, Иван прошёл в юрту и увидел в углу слева от входа очаг, сбитый из глины без трубы, в котором горели сухие полешки. Он сразу присел, потому что дым висел облаком в метре над полом. А присев, Иван увидел у стены на циновках под оленьими шкурами живое

существо. Это была Анюта. Вот так они встретились. И никак тут без судьбы не обошлось.

Поначалу Иван принял её за старуху – костлявое лицо, худые щёки, глубоко опавшие глаза, спутанные волосы. Но она оказалось девушкой семнадцати лет. В то утро ей ещё хватило силы распалить очаг, но уже не осталось надежды на завтра. Жизнь оставляла её, и она лежала в ожидании конца, когда услышала за стенами живой шум. Показалось, что начала бредить, но в юрту прошёл человек. Она его не могла разглядеть, потому что глаза застили слёзы.

Выходил Иван Анюту, поставил на ноги. В юрте хлебной крошки для мышей не было, так что пригодились прихваченные в дорогу припасы. И мука была, и соль, и олений окорок для свеженины. На глазах Ивана истощённая голодом девушка, показавшаяся поначалу старухой, превратилась в пригожую красавицу. Личико округлилось, щёчки порозовели, носик повеселел, в карих глазах искорки зажглись, и вымытые в горячей талой воде волосы еле уместились в две толстые косы. А когда девушка одела свой зырянский наряд, – кофточку с широкими рукавами и длинный сарафан с множеством оборок, – да затянулась в тонкой талии голубой лентой, Иван сильно смутился и дальше порога не пошёл – а только что с улицы ввалился! – постоял молча, глазами хлопая и рот открывая, как рыба на суше, да и вывалился обратно из юрты.

Через какое-то время растерянная Анюта выглянула в дверь и увидела его у сосны. Он сидел, скорчившись, обхватив руками колени и прижавшись плечом к дереву.

– Ты чё хоть? – спросила она.

Он не обернулся, не поднял головы, однако не сразу, но подал голос:

– Ты красивая.



Анюта никакого опыта, конечно, в любовных делах не имела, но была понятливой, да и природой заложено в женщинах насчёт этого чутьё. Она вышла из юрты, подошла ко второй сосне и присела на корневище, ловкими руками стыдливо собрав у ног подол широкого сарафана.

– А чем тебе плохо, что я красивая? – спросила она.

– За другого выйдешь.

– За кого? – сдержала она смех. – За медведя?

Мол, нет женихов вокруг, кроме Мишки косолапого. Но Иван уже знал, что мир не ограничивается этими тремя юртами, а очень велик. Ему приходилось каслать со стадом от тайги через Камень, как называли Уральские горы, до моря. А что там было за морем? А если тайгу насквозь пройти, что там?

Иван ничего не ответил по поводу медведя, потому что как раз в это время думал о большом селе, мимо которого каждый год приходилось проводить стадо, уж так лежал путь каслания, иначе – ворга. По замёрзшей реке удобней было гнать стадо, чем через лес. Собак в этом селе было несметное количество. Сколько выбегало на берег! И все дурные, без толку лают, надрываются, а олени их не понимают и поначалу сильно пугаются, но потом уже не обращают внимание на пустую брехню. Выходил и народ посмотреть на бредущее стадо. Много было парней, и все они больше возле девушек, стоявших стайками, крутились, баловались да выставлялись, чтобы посмешить. По сравнению с ними Иван много проигрывал, не было ни роста того, ни стати той, ни бойкости. Анюта увидит, сразу поймёт.

– В село перебираться надо, – сказал Иван, выпрямил спину и посмотрел на Анюту.

Ему не хотелось оставаться в этом обезлюдившем стойбище, к тому же изначально имел намерение добраться до села. Анюта же об этом и слышать не хотела. Она родилась тут, выросла в этом лесу, ничего кроме не видела и ей казалось, что по-другому и жить нельзя. А теперь, когда появился Иван, зачем ей куда-то перебираться? Тут на небольшом кладбище лежит её мать, которая умерла от страшных болей в животе. Должно быть, от острого аппендицита. Это теперь все знают о болезнях больше докторов, а тогда такого слова и не слышали. Кишки болят – и весь диагноз. Анюте было уже четырнадцать лет.

Стойбище потихоньку пустело, старики умирали, а неусидчивая молодёжь перебралась в другие места, где зверя должно быть больше в тайге и рыбные места обильней. Плохо им тут было! Как в раю хотят – руку протянул и ешь готовый шомох – царскую еду из лучшей рыбы. Отец Анюты тоже подумывал перебраться в село, там жила в собственном доме вдовая и бездетная сестра, готовая приютить, даже сама звала. Но чего-то медлил. Трудно было, видать, покинуть обжитое место, где когда-то счастливо жил с женой и дочкой.

Этой весной он запряг свою лошадку и поехал за продуктами, кончилась даже соль. Дорога лежала через Большую Обь, через многие протоки поймы и ещё через Малую Обь, на берегу которой и стояло село Мужы. Вернуться обещал через три дня, оставив на это время еды, а прошло три недели, но его не было. Анюта стала догадываться, что случилось. Апрельский лёд местами под солнцем ослаб и где-то не выдержал повозку с лошадьёю. Отцу было уже около пятидесяти, после смерти жены он как-то сильно постарел, и просто сил не хватило, видимо, выбраться из полыньи. Не мог же забыть о дочери, будь живым!

Уезжать Анюта не хотела, потому что ей было хорошо с Иваном, и ни в ком она больше не нуждалась. Только вспоминала мать с отцом и то потому больше, чтобы они за неё не беспокоились, всё у ней ладно. Её успокаивала мысль, что они догадываются об этом, раз дочь задержалась на земле.

Анюта готова была спать с ним под одним одеялом, но Иван оказался странным и ничего не понимал по глазам. Он всё говорил, что надо ехать в село, ближе к людям, зиму одним не пережить. На самом деле Иван не был уж таким непонятливым, как думала Анюта, но к тому времени сильно полюбил девушку и не хотел обмана. Женятся они, будут спать в обнимку, а потом Анюта пожалеет. Надо, чтобы она пожила в селе, и если после этого выберет из всех парней Ивана, то уж всё будет честно. Тогда уж, конечно. Тогда уж какой разговор!

Осенью по первому льду Анюта с Иваном перебрались в село и стали жить у родственницы. Сестра отца Антонида, полная женщина с походкой утицы и с рябым от оспы лицом, оказалась участливой душой, поселила молодёжь в лучшей половине избы, разделённой сенями от второй части, куда сама перебралась.

– Церковь закрой, – сказала она. – Кто вас повенчает? Но Бог-то видит. Вот и будьте с Богом!

Она-то не знала, какой принцип поставил Иван, и очень удивилась, когда он о свадьбе заговорил. Это случилось через месяц и то потому, что Иван наконец-то понял, как обижает Анюту своим недоверием. Никого Анюта не видела, кроме своего Ивана, никто ей не был нужен.

– Не дури давай, – говорила ему. – Придумал чего-то! Или не хочешь на мне жениться?

На такой вопрос Иван ответить не смог, потому что от волнения язык дере-

венел. Это он-то не хочет! Как такое могла о нём подумать?

И не стал больше медлить. Забил оленя, мяса на свадьбу хватит. Надо было всё по-человечески сделать, как дедами принято, рассудил Иван. Антонида много дивилась и со смехом рассказывала товаркам, как она ошиблась, племянницу посчитала мужней, а она девичьей оказалась. И не так, чтобы всем, а показывала простынку с бурым пятном после свадебной ночи.

И всё с той поры в жизни Ивана пошло не хуже других. Советская власть признала его гражданином и выдала справку с печатью, в которой было указано, что он и на самом деле он, никакого подвоха, так сказать. А то ведь маломальской справки не было. Фамилии отроду не имел, отчества не помнил. Председатель сельсовета долго смотрел в окно, за которым было видно небо с весёлыми белыми облаками, и записал в толстую книгу, бормоча по буквам вслух:

– Б-е-л-я-е-в.

Отчество он точно так же определил, уставился в окно и ждал, пока кто-то не пройдёт мимо.

– О! – воскликнул он. – Семёновичем будешь. Согласен?

Ответа ждать не стал, а повёл пером по бумаге. Чего спрашивал?

Так Ивана причислили к трудовому народу, и он вместе со всеми селянами взялся за строительство коммунизма. Назначили его в рыболовецкую артель, которая ходила на больших каюках в Обскую губу ловить нельму. Возвращался домой, до последних сил истосковавшись по Анюте. И она ждала его, каждое утро желая только одного, чтобы дни бежали быстрее, не так тянулись. Зимой Иван промышлял в тайге, охотником был удачливым, пушнину сдавал государству, и в доме завёлся достаток. Через год Анюта



родила Ивану сына. Назвали Тимофеем в честь отца Анюты.

Счастливая жизнь Ивана всё длилась и длилась, уже тридцатые годы наступили, образовались колхозы, отчего люди в селе заметно обеднели, кто постарше, всё вспоминал, как хорошо было «важен», в старину то есть, при царе. Но потом за такие разговоры стали судить, и народ при молк. Охотнику и рыбаку Ивану теперь платили трудодни, выдавали палочки с зарубками, сколько он заработал. А чего стоил трудодень, зависело от того, что находилось в колхозных амбарах. Иногда там и мышам-то нечего было делать.

Но Ивану всё равно жилось хорошо. Ну, как рыбак да охотник останется без припасов на зиму? Голодать не приходилось и разутыми, раздетыми не ходили. Мальчишка рос, Анюта всё хорошела, выходя в лучшие бабьи лета. Иван о них заботился, и это наполняло великим смыслом его бытие. Но он ещё не знал, чем заплатит за короткую радостную пору своей жизни.

Председателем колхоза был приезжий человек, партийный, по фамилии – Лобов. Почему-то начальство в селе всегда было приезжим. Лобов наводил в колхозе железную дисциплину. Чуть опоздал на работу, отвечай. Чуть провинился чем – трудодни скостят. С колхозного покоса принёс к себе на двор вязанку сена, получай по всей строгости. И под суд отдавал.

– Лобов беспорядка не потерпит, – сто раз на дню повторял председатель и не надоедало ему долдонить одно и то же.

Зимой работ было меньше, а в пору сенокоса он всё село выгонял на покосы. Вот и Анюта оказалась на заготовке сена. А была в это время беременной, считай – на сносях. Иван уговаривал председателя пожалеть жену. Но тот ответил, что посильная работа для брюхатых даже

полезна. А какая же посильная работа – скирдовать сено. Гроза надвигалась, работали бабы без памяти, чтобы успеть сухое сено сложить. Анюта подняла навильник, как рассказывали, вскрикнула и опустилась тихонько на стерню. Бабы не могли спасти, изошла кровью.

Навалилось какое-то полное затмение на мозги, когда Иван узнал о беде. Он взял ружьё и пошёл в правление. Ногой распахнул дверь кабинета и наставил на Лобова двустволку. Тот стоял перед ним набитый жиром, настоящий кабан, только на двух ногах. И глазки-то кабаньи, маленькие в красных прожилках. Прибил бы непременно, когда б не мужики, оказавшиеся в правлении. Это они скрутили его.

– Что ты, Ваня... Что ты!

А Лобов сказал:

– Ну, я тебе этого не забуду, контра!

И не забыл.

## Маета

В молодости было легко утихомирить душу, когда в ней поднималась смута или даже возникало лёгкое смущение, бежал к друзьям и находил понимание. Днём, ночью, в любое время мог позвонить или постучать в дверь, и такие у него были друзья, что откроют и ответят. Куда всё утекло?

Ну, понятно, и друзья не вечны, большим числом ушли из жизни. Но тут другое удивительно. Ещё ведь живы некоторые, с кем судьба связала когда-то, казалось бы, такими крепкими нитями, что не порвать их вовеки, а что-то случилось, будто течением песку нанесло, и река пошла стороной, а прежняя дружба осталась старицей и зарастает тиной стоячая вода.

А человек такое существо, что мало ему едой голод утолить, да водой – жаж-



ду, не меньшая нужда в общении, чтобы возможность была душу излить. И мог бы, кажется, Никита Егорович со своей разлюбезной Дарьей Алексеевной потолковать за чашкой кофе, уж у неё-то сочувствия хватит.

– Ту ли жизнь прожил? – скажет, к примеру, любезный супруг.

Так жена ж опечалится и на себя вину возьмёт, мол, всегда мешала ему своими обывательскими претензиями. Мол, видела, как быт угнетал его, а ещё больше досаждала. И то ей надо, и того не хватает, у других есть и ей нужно. Женился бы на другой, мол, всё бы иначе сложилось. Она, мол, во всём виновата. И придётся Никите Егоровичу ещё и успокаивать расстроенную жену, потому что нет её вины ни на капельку, ни на грош. Зачем затевать разговор, если заранее знаешь, что не по злу, а как раз от излишней доброты не поймут тебя?

Дети – понятливые ребята, но чем они могут помочь? Молодость что ли вернут, тот перекрёсток, с которого начал путь? Нет же!

– Держись, папа, – скажет и тот, и другой, бодрясь. – Ты у нас орёл!

Ваську повидать бы... По старой-то памяти всё – Васька. Давно этак никто его не окликал, должно быть. Теперь он Василий Васильевич, золотисто-рыжие волосы поседели, должно быть, если ещё остались. Что-то сильно душа запросилась к нему, прямо-таки заныла, тут бы и сел в машину да покатил... Но куда уж ему – дальняя дорога! Ездить-то ещё ездит за рулём, но только до своей дачи и обратно по объезженному пути. Да и не знает он, где нынче улица Васьки, где его дом.

Однако успокаиваться Никита Егорович не стал, а решил по Интернету найти старинного приятеля. Захотелось ему хоть что-то узнать о нём, а если по-

везёт и обнаружится адрес, то и письмо написать. В далёкие шестидесятые годы прошлого века, в годы студенчества проходил практику в Тюмени и завязалась, казалась бы, неразрывная дружба с ровесником Василием, выпускником Московского университета, умником и великим книголюбом, но с той поры ни разу не встретились больше, не привелось, и постепенно прервалась даже переписка. Но вот же вдруг захотелось хоть словом обмолвиться. Знать, в старости такое бывает с человеком.

И местопребывание друга Никита Егорович нашёл, работал на Челябинском телевидении, в одном из сайтов разбирались его аналитические передачи. Но тут Никита Егорович – там же, в Интернете – наткнулся на заметку одного довольно известного в советское время поэта, ныне живущего в Израиле. Тот писал, как помог ему Василий в начале пути, каким он был светлым русским человеком, как умел открывать таланты, а сам так и не написал книги, хотя мыслей и знаний на это хватало избыточно.

От этого поэта Никита Егорович и узнал, что Василий умер.

Отключив компьютер и настольную лампу, Никита Егорович, помнится, отошёл к окну, прижался лбом к холодному стеклу и на фоне ночной темени увидел своё смутное отражение с близко смотрящими в упор сухими колючими глазами. И хорошо помнил Никита Егорович, что в те минуты печально спрашивал невесть кого, зачем судьба распорядилась так, свела их на короткое время и разлучила теперь уже навсегда.

Судьба...

Может быть, её придумали наши милые предки при лучине. Зимние вечера тёмные, долгие, а телевизора нет, учёные не дошли ещё умом до этой прилипчивой заразы, – вот и сидели в сумрачной избе



бабки да деды наши и рассказывали друг другу небылицы, да ещё и старались, кто почудней. Придумали вокруг себя соседей – духов разных, нечисть поганую, Орта того же, а ещё – судьбу. Зачем надо было заселять мир вокруг себя, сами не знали. Хотя с одной стороны в тех вымыслах некая выгода есть, можно при случае себя обелить. Не сам сподличал, к примеру, а бес попутал. А уж беса того за хвост не поймать, в суд не повести.

Знакомый Никиты Егоровича по имени Серафим – и давно ж это было! – в своей халупе решил на ночь растопить железку, печь. Дрова сырые были, так он бензинчику плеснул из консервной банки. Разлил по полу, конечно, руки-то непослушные. А спичку запалил. И тут полыхнуло. Еле успел выскочить на улицу, и плюхнуться в лужу. И вот сидит смиренно посреди этой лужи в обгорелой одежде, яки святой, смотрит на охваченную жадным пламенем избушку и вздыхает:

– Судьба!

Его вины, конечно, нет. Он и бензин-то взял не по своей дурости, а так должно было статься в обязательном порядке. И то, что расплескал, тоже стечение обстоятельств. Сосед позвал отметить факт рождения младенцев – кошка окотилась. Событие, конечно, не из ряда вон выходящее, чтобы две бутылки опорожнить, но факт – по выражению соседа – был налицо. То есть повод явно имелся. Посидели малость, обдумали, как от ненужной живности избавиться. И побросали в реку несмышлёнышей, придурки. Ещё и состязались, кто подальше.

Сидя в луже, Серафим мог вполне обоснованно подумать о том, что сотворив зло, отплату получишь. Но мозги от водки не работали, да и не любил Серафим думать. А кто любит?

– Судьба!

Это ж такой удобный ответ на все

случаи жизни! Но с чего подпалённый Серафим припомнился? Никита Егорович даже несколько удивился резвой игре памяти. Печально думал о Ваське, которого знал молодым, светло-рыжим, залихватски азартным в споре, а вынырнула из потёмков памяти пьяная опухшая физиономия Серафима, который мог от силы три слова связать, на большее не хватало соображения. Но в луже он сидел примечательно, хоть картину пиши. А ведь мог, мог своенравный Васька хоть позвонить, не велик труд. За столько-то лет! Но и Никита Егорович мог бы раньше найти адрес, да связаться, тоже больших усилий не требовалось. Но что-то же помешало? Что-то же было причиной?

– Судьба...

Никита Егорович даже чертыхнулся, мысленно произнося это слово чуть ли не с той же интонацией, что и Серафим. А сидел он в это время на скамейке в обществе двух молчаливых мужчин и оказался уже первым в очереди на узи сердца. Ждал, когда вызовут. И опять же без всякой связи и видимой причины возникла в памяти картина пятидесятилетней давности и так явственно, будто миг назад увиденная. На заштатной станции стоит длинный грузовой состав. Скучно сыплет мелкий дождик. И так вокруг всё серо, а от мороси ещё больше уныния. На засыпанной шлаком площадке вытянулась в струнку девчонка, запрокинув голову. Она смотрит снизу на Никиту, который поднялся уже в тамбур. Домой едет, отслужил солдатик. Ждать местный пассажирский поезд надо чуть ли не сутки, так он товарным доберётся до города, а там уж поедет плацкартой, как положено. Отсыревшее платье обтянуло хрупкую фигурку девчонки, пряди волос слиплись на щеках, маленькой ладошкой она смахивает слёзы и всё смотрит на Никиту в робком ожидании.

– Я вернусь, – говорит Никита, чтобы она успокоилась.

А она не слов ждала от него, она умоляла глазами, чтобы он руку протянул, и тогда взлетела бы в тамбур и прижалась к нему, чтобы ехать, куда угодно, хоть к чёрту на кулички. Но уже лязгнули буфера, медленно двинулся состав, и девчонка осталась среди унылых построек станции.

– Я вернусь! – крикнул ещё раз Никита из жалости, которая искренне охватила душу.

Забывшись, Никита Егорович глухо простонал, так больно и стыдно стало за давнюю ложь. Соседи по скамье покосились на него, но ничего не сказали. Они-то подумали, что от приступа сердечной боли человек страдает. А Никита Егорович только теперь, столько лет спустя, сердцем увидел, как она ждала его и с какой горечью стала понимать, что солдатик обманул. Возможно, и на свете нет уже той девчонки, успела состариться и помереть, прежде позабыв о нём. Но почему вдруг возникла эта картина из прошлого? И будто кто-то зло упрекнул...

Натура Никиты Егоровича за время жизни сложилась таким образом, что он никогда и ничего не отрицал. «Не может этого быть!» – не его слова. Всё может быть. Исключительно всё. Мир не только в пространстве безграничен, но и в проявлениях. И потому очень может статься, что не он один остаётся свидетелем постыдных своих поступков. Вот и выкапывает Ёрт из прожитого неприглядные примеры и подбрасывает Никите Егоровичу, как футбольные мячи, мол, отбивайся или получай по лбу.

Да и судьба может быть не выдумкой. Как часто бывало, что Никита Егорович усиленно чего-то добивался, работал ради этого, не покладая рук, а всё оборачивалось не так, как он хотел, будто

какая-то упрямая сила сопротивлялась и поворачивала на свои рельсы. И длилось это, бывало, не день, не месяц, а годы. Но вдруг приходило послабление, и неудачи улетучивались, отходили в сторону, будто образуя коридор, и как-то вроде само по себе всё удавалось, всё складывалось лучшим образом. Как тут не скажешь подобно погорельцу Серафиму – судьба!

Но вот вопрос – почему память завихрилась, как буйная метель? Так какой-нибудь агрегат заходит вразнос, и уже ничем не остановить махину, пока сама не достигнет предела напряжения и не разлетится в куски. Может быть, память пошла вразнос, и потому мелькают перед мысленным взором события, давно прошедшие, и без всякого порядка, а в какой-то хаотической нервной спешке. Возникают давно забытые лица, небрежно брошенные слова, неверные поступки, ошибки, заблуждения, бесплодные страсти – и всё в сплошной мешанине, словно годы потеряли извечную связь и мечутся шариками в прозрачном чреве лотерейного барабана.

Дверь рядом с Никитой Егоровичем, обитая цинковой жстью, приоткрылась, и женщина в белом халате сказала:

– Заходите.

Его попросили по пояс раздеться и лечь на лежак, обтянутый дерматином. Мужчина на исходе молодости с тонкими пижонскими усиками, стал водить по левой стороне груди кольским прибором, похожим на компьютерную мышь. При этом он продолжал разговор с женщиной о предстоящем отпуске, время от времени бросая непонятные слова – диастола, фиброз, регургитация, да ещё перечисляя какие-то цифры – а собеседница записывала эти данные и тоже делилась своими планами на лето.

Скосив глаза, Никита Егорович увидел на дисплее, как что-то пульсировало. Он





даже не сразу понял, что разглядывает собственное сердце. Он впервые видел его, и у него возникло отчуждённое чувство к тому, что отображал прибор. Он даже отвёл взгляд, так ему стало неприятно. Это отображение могло интересовать только врачей, но не Никиту Егоровича. Он знал своё сердце, оно было способно любить и ненавидеть, радоваться и скорбеть. Да многое на что оно было способно! И это никакой прибор не определит.

А ведь главное именно в том и заключается, что оно умело болеть не только от возрастных огрехов. От них никуда не денешься, рано или поздно возьмут верх с последним ударом сердца. Смерть – особа неумолимая. Но Никита Егорович не хотел жить без той боли, что прибор не определяет. Тогда – без той боли – сердце становится и на самом деле насосом. Если оно только для того, чтобы гонять по жилам кровь, то этого мало. Этого для твари достаточно, но не для человека.

И Никита Егорович, лёжа на левом боку под дознанием врача, пытался сам определить, болит ли ещё его сердце хоть по поводу чего-то на свете или равнодушие наполнило его покоем, потому что состязания кончились, на финише опустело.

## Попался под руку

Не забыл подлый человек Лобов ружья, всё искал удобного случая отомстить Сём Ваню. Что посылал на самые тяжёлые работы, уж говорить нечего. На это Иван не обижался, трудом его не испугать было, как рыбу водой. Да и тайга большая, уходил на охоту подальше от начальства и жил себе вольготно. Пока Тимка был дошкольником, забирал с собой, учил мальчика, чему сам был мастер. Зимой жили в охотничьем домике, который Иван срубил сам в глухомани, знал

об этом жилище разве только леший, а люди робели забираться в такие дебри. Летом отец с сыном тоже редко бывали в селе, устраивались в старой юрте, так что оставшаяся по наследству от покойной Антонида изба больше пустовала. Три жилища на двоих – чем не жизнь!

В сыне Иван души не чаял, но не баловал, потому как знал – жизнь сурова, не шибко-то милостива к человеку, и не к праздникам надобно готовить парня. Тимка пятилетним мальчонком бегал на лыжах – подбитых камусом лыжах – и капканы ставил так умело, что хитрую лису объегоривал, а о глупых зайцах и речи не могло быть. Как только силёнок набрал, чтобы ружьё на весу держать, так и стал стрелять. Потом он пошёл в школу, уже зимой отец брал его в тайгу только во времена каникул, а так оставлял под присмотром соседки Татьяны, которая только и знала, что жаловаться на своего Луку, который ничего не умел, криворукий. Но в голосе особого недовольства Иван не улавливал. Бабе явно было приятно ворчать на мужа. Живность-то своя! Да и Лука не был никудышным мужиком, не всем же в охотниках ходить, кому-то надо и конюшню чистить. Человек он был добрый, отзывчивый.

Эта вот его уступчивость да жалостливость и накликали беду.

Всё лето Иван со своим сыном проживали на покинутом стойбище, в котором когда-то нашёл Иван свою Анюту, которую никак не мог забыть. Места были рыбные, ловили отец с сыном муксуна, стерлядку, попадалась и нельма, рыбы для царского стола. Сдавали, конечно, в общий колхозный котёл. Но куда она потом девалась, знал один председатель, пожалуй. Но дело не в этом. Юрту надо было подновить.

Вот и надумал Иван завести по зимнику тёс, чтобы крышу поправить, проте-



кать стала. На это дело попросил коня с розвальнями у Луки. Доброму соседу – и рыбой баловал, и лосятиной угощал – Лука никак отказать не мог, конечно. Да и натура же была такая, безотказная. Выделил председательского жеребца, остальные лошади были заняты. Жеребца этого использовали и на лёгких работах, не только председателя катал, так что ничего необычного не случилось. Сам Лобов в отъезде был, в округе. Запрягли конягу, загрузились, и поехал Иван. Снегопадов давно не было, дорога оказалась укатанной и проходила она вдоль реки, от неё до юрты было-то всего метров сто в гору. Иван не стал утруждать коня, а сам перетаскал доски на горбу, протоптав в глубоком снегу тропинку. Затащил тёс в юрту и поехал домой, чтобы к вечеру сдать жеребца. Лука поставил коня в стойло, даже не потным оказался, всё было в порядке.

А назавтра вернулся Лобов, очень собой довольный, видать, замаслил своё окружное начальство и на радостях запил. Велел запрячь того самого жеребца, вылетел из села вихрем, покататься решил. В пьяном кураже загнал конягу, сердце у животного лопнуло. Протрезвев, испугался, что отвечать придётся. От кого-то узнал, что Ивану давали жеребца. Вот и свалил на него Лобов всю вину. Горячего коня, мол, холодной водой напоил. Лука было заступился, но председатель и ему пригрозил тюрьмой. Мог Иван за вредительство загреметь надолго. Но судьёй была жена председателя, тоже приезжая. Она зла Ивану не хотела, понимала, что такого охотника ещё поискать надо, в хозяйстве нужный работник. Но важно было мужа от беды отгородить. И так повела дело, что Ивана посадили всего на два года за порчу колхозного имущества. Отсидел в Лабитнангах, севернее села, но в родном округе. Работал на лесоперевалочной базе. Иван успел попро-

сить Татьяну с Лукой, чтобы сына Тимку не отдали в детдом, приютили у себя. Но те и сами догадались.

Вернулся Иван до того худой, что кости сквозь кожу просвечивали. Он таким и остался, маленьким, сухоньким, но был жилист. И снова он зажил счастливо, занимаясь рыбалкой и охотой. Лобов его не трогал, завидев на улице, сворачивал, чтобы глазами не встретиться. Боялся он Ивана, подлюга, только и успокаивался, как тот уходил в тайгу или уезжал в стойбище. Люди председательское зло тоже помнили, но Лобову было наплевать на их мнение, он с ними не считался. Знал, не попрут против начальства. А Сём Вань запросто пристрелит, как волка, рука не дрогнет. И давно бы нажал на курок, но сыну боится испортить жизнь. Другой причины нет. Коль не Тимофей, лежал бы уже председатель с пулей во лбу посреди улицы. А люди разводили бы руками и говорили следователю: «Так и было».

Но сын подрастает, окончит школу и учиться уедет. Вот тогда Сём Вань и получит волю рукам. Всё жену забыть не может, контра. Несомненно, опасения за свою жизнь корёжили нутро Лобова, ему беспокойно жилось в селе, и не мог он не думать, как бы неугодного охотника убрать подальше. Конечно, жена права, работник колхозу нужный, это понятно, однако Лобов не хотел неприятностей, он почитал порядок.

## Непокорный боцман

Как-то однажды в палате Никита Егорович и боцман остались одни, остальные ушли на процедуры. Никита Егорович, устроившись на стуле возле своей тумбочки, задумался над раскрытым блокнотом. Специально попросил жену купить и принести новенькую записную книжку, чтобы записывать мыс-



ли и впечатления. Но уже седьмой день Никита Егорович иногда садился к тумбочке и застывал с авторучкой в руке над первой непорочной страницей. Не было ни мыслей, ни впечатлений.

Обычно же по утрам голова работала свежо. Иногда вечером никак не определится нужная мысль, мерещится, чудится бесформенным облаком, а утром вылупится, как цыплёнок из яйца, и даже чудно становится, что всё так ясно и просто. За это Никита Егорович почитал утро, не сомневался, что оно вечера мудрее, вставал в пять часов, когда весь дом ещё спал, и очень этим обстоятельством был доволен, прямо как ребёнок, состоявший из одного любопытства.

А в больничной палате вроде бы в то же время просыпался, но мозги ленились, в них не было желания думать. А если и возникали какие-то мысли, то казались они мелкими, серыми, недостойными записи. Но, может быть, всё дело было в том, что Никиту Егоровича сбивали с толку воспоминания, которые в последнее время прямо-таки одолели. Такое возникло ощущение, что они ринулись из тьмы прожитого времени и столпились возле узкой двери, протискиваясь в неё в полном беспорядке. И неизвестно, сколько их там, за узкой дверью, во тьме, и что вырвется на свет через минуту. Понять бы, с чего они так себя повели!

Никита Егорович прикрыл блокнот, положил рядом авторучку и, смиренно вздохнув, откинулся на спинку стула. Он покосился на соседа. Боцман сидел на кровати, согнувшись. Огромный живот лежал на коленях, голова уткнулась подбородком в грудь. Что-то уж больно непривычно был задумчив.

– Худо, сосед? – спросил участливо Никита Егорович.

– Не то слово, – не меня позы, пробасил с хрипотцой боцман.

– Врача позвать?

– Врача! – насмешливо проговорил он и поднял голову. – Я вот думаю, сколько ж лет я его не видел.

– Кого?

– Дурак что ли? – озлился боцман. – Не понимаешь, о чём? – Он повёл глазами вниз. – Баба-то жива?

– Жена что ли? Слава Богу!

– Ты-то как? Ещё можешь?

– Случается.

Никита Егорович повеселел от разговора, такой заботы не ожидал от сердечника Хмельникова.

– Вот я вот всю жизнь о бабах думал, – произнёс он с явным изумлением. – Как же так мужик устроен, что всё о бабах думает?

– Так ведь они тоже! – бойко подхватил Никита Егорович.

– Что тоже?

– О мужиках думают.

– А моя говорит – нет.

– Лукавит. Думают, это точно. Так мир устроен. Иначе не было бы человечества.

– Откуда знаешь, что точно?

– А то не слышал?

– Может, чего и не слышал.

– Большое упущение. Но дело поправимо, расскажу я тебе. Однажды бабы решили послать делегацию к Богу. На коми земле это было по сведениям. В какой деревне, нет уточнения. Ну, вот. Марью и Дарью выбрали, самых языкастых и настырных кумушек. Те и пошли. Приходят к Богу и спрашивают – почему телёнок на другой день уже на своих ногах, а женщинам приходится детей чуть не год на руках носить, пока они на ноги встанут?

– А как иначе? – развёл руками боцман. – Иначе никак.

– Несправедливо, мол. Утомительно. Нельзя ли, мол, как коровам сделать. Бог руками разводит – отчего нельзя? Вполне можно.

– Ишь ты! Облегчения захотели. И что, получили?

– Радовались. Так легко, мол, уговорили. А Бог им и говорит: «Только и мужика будете иметь раз в году, как коровы». Бабы, Марья с Дарьей, всполошились, замахали руками. Нет уж, мол, не надо нам такой участи. Уж лучше с детьми нянчиться будем, а только чтоб от мужика перепало, как прежде. И побежали к тем, кто их послал. Рассказали, что и как было. И те молиться стали, что Бог отвёл от них такую беду.

Боцман повеселел – а печаль, знать, была велика!

– Гляди-ко ты! – заметил он. – Не дуры! А?

Он поднялся громадиной, как белый медведь на задние ноги, развёл руки и выпятил грудь.

– Было же, было! Куда всё подевалось?

Он прошёл между кроватями и оказался у двери, где для него оказалось просторней.

– Бывало, выдам матросскую чечётку, у баб глаза млеют, – сказал боцман.

Неожиданно для Никиты Егоровича боцман развернулся и рассыпал настоящую матросскую чечётку. А был он обут в туфли с твёрдыми подошвами и пол оказался деревянным – старой же постройки здание! – так что дробь прозвучала громко и озорно. Ноги помнили, а силы подвели, надолго боцмана не хватало, он опустился на кровать Никиты Егоровича, которая оказалась ближе, хрипло дышал, глядя белесыми глазами в пустоту, и опять погрузился в безмерную печаль. Чуть отдышавшись, боцман норовисто, как задним умом подумалось Никите Егоровичу, повёл головой и с непонятым вызовом проговорил:

– Это никуда не годится!

С теми словами он вышел из пала-

ты. Никита Егорович всё сидел на стуле возле тумбочки. Теперь он представлял боцмана в лучшие годы его жизни, двухметрового красавца, набитого здоровьем и страстью, беспечального, не знающего мыслей о смерти.

Потом приспело время процедуры, и Никита Егорович покинул палату. А когда вернулся, то увидел полную женщину, которая перестилала постель боцмана. Кладовщик ложечкой аккуратно ел йогурт, а аналитик Сергей читал. Он оторвался от книги и посмотрел на Никиту Егоровича.

– Умер, – сказал он коротко, отложил книгу и стал салфеткой вытирать яблоко, методично, старательно, долго.

– Лифт же работает, – ворчливо проговорил кладовщик. – Чего пешком пошёл? Немного не добрался до пятого этажа.

Никита Егорович знал – чего он пошёл пешком. Не мог боцман примириться с тем, что всё ушло. Не мог поверить, что ничего не вернуть. Должно быть, решил – упрямством одолеет немощь. Но не знал он того, что не против болезни дерзнул, а бросил вызов самой Костлявой. Но эта госпожа свою работу знает, усердная уборщица. Под её метлу попал, смиришься. А что тебе ещё остаётся, гордый человек?

И тут же по какому-то непонятному капризу памяти, вспомнился из детской поры колхозный бык Сидор. Райкомовский уполномоченный привёз в село новую директиву. Они там, в городе, только и делали, что придумывали разные директивы для селян, учили рыбачить и промышлять. Какому-то начальнику пришло в голову, что коров покрывать нужно с определённого числа и строго по определённому числу. Тогда отёл коров будет точно по плану. А раньше времени – не смей, иначе под суд. И загнали быка Сидора в стайку подальше от коровьего выгула. Но никто не догадался втолко-



вать Сидору начальственную директиву и уши не заткнул, чтоб не слышал он голоса подружек. Вот Сидор и поднял на рога стайку, развалил на брёвнышки и побежал приткым ходом к бурёнкам. А те хвостами машут. Председателя, понятное дело, сняли с работы за нарушение социалистического плана, директиву забыли, а Сидора оставили в покое.

И жил Сидор в своё удовольствие. Не того ли неукротимого норова был и боцман Хмельников? Ступеней-то оставалось всего ничего до четвёртого этажа. Ещё бы чуть-чуть!

## Вера

Трогательно нежное, по-детски свежее лицо Ларисы Александровны и на это утро излучало потаённое счастье, которое она старательно скрывала, понимая, что больница – не то место, где можно раскованно улыбаться, как ей на самом деле хотелось. Она пришла из того, другого мира, что вне больницы, и где прошли какие-то очень хорошие часы жизни Ларисы Александровны. Никита Егорович чувствовал это, будто чужая душа и впрямь излучала тепло.

Уныние надоело уже и самому Никите Егоровичу, но управиться с ним он не мог. Чуть издеваясь над собой, сравнивал себя с человеком, который был ещё недавно своим на пиру, погулял вволюшку, попил, пошумел, наговорился, пребывая в страстях, да вдруг отрезвел, потому что друзья-подруги ушли куда-то, унесли беззаботное веселье с собой, а он остался один среди битой посуды со следами губной помады на помятом лице. И каким же чужим предстал мир перед оробелыми глазами гулёны! Праздник жизни кончился, другого не будет.

Ну, так ведь был он, праздник-то! Не вечно ж ему длиться. Тоже надоест, если

вечно. Чего горевать? Нет повода для ворчания. А если ещё вспомнить, какой ему век достался, так вовсе только и благодарить судьбу надо, а не бухтеть на неё, жалостливую.

На кровати боцмана расположился средних лет мужчина, перенёсший инфаркт. Лариса Александровна проверила давление у Никиты Егоровича, сказала, что лечение идёт успешно, только не надо давать большие нагрузки сердцу, мол, излишне говорить, к чему это приводит, и пересела к новому больному.

Теперь она была вне поля зрения Никиты Егоровича, и он закрыл глаза, чтобы удержать в памяти её облик. Он хотел бы увидеть свою судьбу такой же миловидной, такой же молодой, а не злой старухой, как снилась она Сём Ваню. И что же сказала бы судьба, окажись напротив за кухонным столом, на котором дымились бы две чашки утреннего кофе. Спросила бы, конечно, первым делом:

– Чем недоволен, человеचे?

– Да не знаю! – с досадой ответил бы Никита Егорович. – Крутит, мутит, корёжит, а чего так – не пойму.

– Может, не устраивает, как прожил жизнь?

– А можно поправить что-то?

– Нет, конечно.

– Так какой разговор!

– Не вздумай на меня брюзжать. Я тебя жалела. Не забыл, в какой век угрозило тебе родиться?

И она стала бы говорить, что в прошедшем двадцатом веке долгого, достаточного для жизни хоть одного поколения затишья не было. Революции да войны, репрессии да реформы... Будто сознательно власти усердно сбивали народ с разумного пути. Как можно было сохранить человеку себя, свою душу и веру в добро в эти лихолетья?!

– А я тебя провела, как лодку через



перекат меж камнями, – напомнила бы судьба. – Воевать с немцем возрастом не вышел, в Афган и Чечню не попал по зрелости лет. Скажешь, не повезло? Колхозного труда не хлебнул. После службы в армии вольную давали. Опять же подфартило. Репрессий избежал. Язычок был длинный, да друзья оказались надёжными. Никто не донёс. Учился в Москве, как мечтал. Работа досталась – кайф один. Чем я тебе не угодила?

– Да с чего взяла, что упрекаю?

– Поговорить же хотел. О чём?

– Теперь понимаю – не к тебе вопросы.

– С чем в неладах? Что всё виноватого ищешь? Погляди в зеркало, поможет.

– Да ладно тебе!

– Ещё жаловаться будет на свою жизнь! – обиженно ворчала бы судьба. – Женился, на ком хотел. Прожил с ней в ладу. Детей вырастил. Трёхкомнатная квартира на двоих. Дача. Руки-ноги целы. Голова на месте. Ещё работать может. А жалуется на меня. Совести у тебя нет!

– Да ладно тебе! – повторил бы Никита Егорович, устыдившись упреков судьбы, и закончилась бы на том беседа.

Поднявшись с кровати, Никита Егорович подошёл к окну и уставился на снежный пустырь, который лежал между жилыми домами. Судя по развалившимся деревянным трибунам, это было заброшенное футбольное поле. Теперь по его окружности двигались по укатанной лыжне девчонки и мальчишки, должно быть, школьники. Даже по их ленивой походке было заметно, что заняты они подневольным делом, тянут урок по физкультуре. Никите Егоровичу бы их лета, он бы показал, как можно нестись на лыжах. Лентяи, шалопаи, бездельники! Им бы только за компьютером торчать. От души поругав мальчишек и девчонок, Никита Егорович получил некое успокоение и решил пройти по коридору. До сле-

дующей процедуры оставалось часа два, и куда было себя деть?

В коридоре шла обычная больничная жизнь, сестрички в белых халатах появлялись из одних и ныряли в другие палаты, как в норы, неприкаянно, словно заблудшие, бродили какие-то бабки, мужичок лет шестидесяти пяти вышагивал стометровку, по-строевому размахивая руками, накачивал здоровье, этот хотел жить, других помыслов у него не было. Никита Егорович очень часто видел его в коридоре и всегда подвижным. Маленький, коротконогий, с тяжёлым туловищем и крупным носатым лицом он излучал, пожалуй, единственный в отделении полный и безусловный оптимизм. Спросить бы его – зачем ему жизнь? Он-то уж точно знает – зачем. Но неудобно с таким вопросом подойти, не поймёт, ещё и обидится. А Никите Егоровичу вовсе не хотелось больно сделать, а только узнать – зачем?

Но, с другой стороны, и что он выяснит? Скажет мужичок, что дел у него невпроворот – что-то нужно достроить, что-то закончить, внуков поднять, жене на новые сапоги заработать, державе послужить. Мало ли у человека забот и задумок? А всё ж пустое. Без нас достроят, начнут и закончат, и внуки на ноги встанут без нас и державе без нас служить будет кому. А есть ли что важнее, значимее, чем эти извечные человеческие дела? Есть ли что-то такое на старости лет, когда уж натрудились, напахался вдоволь, ради чего стоило бы жить?

Судьба с трогательно милым лицом молодой врачихи Ларисы Александровны не ответила бы на эти вопросы. Не её компетенция. А кто ответит? И есть ли ответ?

Он шёл по коридору, всматривался в лица больных, что встречались на пути, и больно было видеть потухшие глаза, на-



полненные одной тоской. В них если и теплилась надежда, то была она робкой, боязливой, трепетала, как пламя свечи на ветру. А как же лучезарно, должно быть, светились глаза этих людей в молодости! Точно так же, как теперь у Ларисы Александровны, которая перед своими пациентами стесняется этого света, от чего усиленно морщит лобик и хмурится, нагоняя на себя деловитость. А чуть опухшие от недавних поцелуев губы всё норовят растянуться в улыбке.

В молодости Никита Егорович любил людей. На знакомства шёл с великой лёгкостью и везло в них, всё как-то попадались замечательные люди. Может быть, потому, что сам не был таким занудой, как теперь. Но он свято верил, как только можно верить на этом свете, что плохих людей не бывает. Ситуации заставляют иногда людей поступать скверно, не по совести, но душа у каждого настроена только на добро. И было Никите предельно ясно, что достаточно дать свободу людям, и они обустроят жизнь как нельзя лучше. Все будут друг к другу добры, рады соседству и в помощи скоры. Потом девяностые годы жестокого двадцатого века умерили восторженный пыл Никиты Егоровича, сильно заставили задуматься над извечным вопросом – кто ты есть, человек?

Может быть, ушла вера в человека и от того так сумеречно стало вокруг Никиты Егоровича.

И тут он буквально наткнулся на взгляд маленького щуплого мужичка, который стоял у стены, одной рукой придерживая сбоку небольшой квадратный предмет. Никита Егорович не знал названия этого прибора, но догадывался, что это был стимулятор, соединённый как-то с сердцем, который уже без него не может работать. Никита Егорович видел глаза, в которых уже потухла надежда –

какой там лучезарный свет! – и от растерянности произнёс вслух:

– Здравствуй!

Мужичок кивнул, не меняя безучастного отрешённого выражения лица. Никита Егорович пошёл дальше по коридору, старательно убеждая себя, что человек ещё на ногах, не лежит в реанимации, а это чёртов стимулятор врачи прицепили на время. Потом снимут, и пойдёт мужичок домой заниматься какими-то своими делами. Но печать смерти на лице человека с прибором уже пропиталась в память, как чернильное пятно в промокашку.

Полтора месяца назад Никита Егорович ехал в гараж на своей машине, и на последнем перекрёстке врезался в левое переднее крыло «Мерседес». Погода была такая же скверная, как в то утро, что Никита Егорович в больницу возвращался. Но он хорошо разглядел зелёное око светофора и поехал прямо. А та машина пошла на поворот, как слепая, и хоть не на большой скорости, но порядочно помяла перед тачки. Выскочили оба водителя, заметались, стали чёрта честить. Потом остыли немножко и стали разбираться. Во всём был виноват хозяин иномарки, он сразу это сам признал.

– Я думал, – говорит, – вы пойдёте на поворот.

– Так с чего? Ведь не мигал.

– Нет, не мигали.

– Я ничего не нарушил.

– Не нарушили. Но я подумал...

И опять по кругу, как зациклило его. Он подумал! Мужик чуть старше пятидесяти, простецкий вроде, не из тех, для кого сто долларов ничего не значат. И машина подержанная, старьё. Начал уговаривать обойтись без гаишника.

– Может, договоримся. Я заплачу за ремонт. Сколько вам? Только отъедем к обочине, а то мешаем другим.

И с молодых лет оставшаяся вера в человека подвела бедолагу Никиту Егоровича. Он согласился, сел в машину и отъехал. А когда прижался к бровке, вышел из салона, чтобы продолжить торг, тот водитель проехал мимо и в открытое окошко крикнул:

– Уже ничего не докажете!

Никита Егорович даже номера машины не запомнил. Но ведь знал, знал старый водило, что место аварии покидать нельзя. Тем более – когда твоей вины нет. А вот опять поверил человеку. Машина растворилась в снежной мути, а Никита Егорович стоял одиноко, и было ему тошно. Ну, что ж ты, гад ползучий! Что ж так подленько смылся? Много ли выиграл?

И внезапная догадка прямо-таки поразила Никиту Егоровича, он невольно остановился и резко обернулся. Мужичок всё так же стоял, придерживаясь одной рукой стены, и обречённо смотрел в пустоту. Нет, показалось. Тот был гораздо моложе.

Но ведь тоже умирать будет. Неужели кому-то в смертный час приносят счастья воспоминания о том, как в жизни обманывал, воровал, подличал, оставляя за спиной проклятья.

Что бы ты сказал на этот счёт, Иван Семёнович?

## Чудо

В конце тридцатых годов вроде бы вовсе наладилась жизнь Сём Ваня. Тимофей, сын превратился в крепкого парня, охочего до работы и выносливого. Лицом он на мать смахивал, только по-мужски грубее были черты, но жилистым, подбористым телом весь был в отца, однако выше ростом. Жили они в доме покойной Антонида, жили согласно, не было случая, чтобы чего-то не поделили и поссорились. Да Сём Вань и не мог иначе, кро-

ме сына у него никого не было, он готов был жизнь за него отдать. Причём тут житейские мелочи?!

На Лобова он уже зла не держал, тяжело носить камень за пазухой. Да и понимал, что мстью Анюту не вернуть. Теперь Лобов колхозом не руководил, пошёл на повышение, работал в райисполкоме в качестве какого-то зама. Сём Ваню было всё равно, чем он заведовал, его это не касалось. Сём Вань жил своей жизнью, и она очень устраивала его. Был рядом сын, крыша над головой не протекала, рыба ловилась и зверь попадался, а ещё – люди уважали, и он со всеми легко ладил. Что ещё человеку надо?

Жена Луки суетливая Татьяна частенько намекала Ивану, что готова сосватать, если на кого укажет Иван, но успеха не имела. Сём Ваню было где-то около сорока лет, невеста нашлась бы в селе и не одна, но он не хотел, чтобы кто-то занял место Анюты. Он жил для сына, в его сердце любви хватало.

До войны с немцами оставалось ещё больше трёх лет.

Однажды зимой, в январе, в самую студёную пору прикатила в село из города Салехарда, окружного центра, лёгкая повозка, называлась по-местному «кошёвкой». Прибыли двое, как выяснилось, из органов. Как теперь понимает Никита Егорович, могли приехать по сигналу, проще говоря – по доносу «доброжелателя» или «патриота». А возможно сверху спустили разнарядку такого порядка – обнаружить среди жителей села «врагов народа» в количестве трёх человек. Это теперь кажется диким, а тогда было в порядке вещей, Никита Егорович немало читал об этом. И доблестные чекисты, конечно, обнаружили «вредителей», однако не без помощи местной власти. В числе троих оказался Сём Вань. Может, Лобов тому посодествовал. А может, сам ви-





новат. Он же от сельчан не скрывал, что вырос приёмным князьком. По крайней мере, на первом допросе долго выпытывали, куда спрятал единственный наследник богатства князя золото и всё такое. Неужели, мол, думает воспользоваться ими? Возврата к прошлому не будет, Советская власть твёрдо стоит на ногах. Одного только не понимал Сём Вань – о каком золоте допытывались эти приезжие люди.

Кстати, о Лобове, чтобы уж не возвращаться к этому типу – он перед самой войной подавился рыбьей костью, а единственного фельдшера не оказалось в селе, ушёл на охоту. Найди его в тайге! Лобов всегда жадно ел, как голодный кабан, будто боялся – отберут. Но, может, быть народ придумал насчёт рыбьей кости. Одно верно – упал со стула во время обеда, сколько-то храпел на полу, хватаясь за горло, и затих навсегда. Мог приключиться инфаркт. Но о такой болезни даже фельдшер в те времена не знал. Люди порешили между собой, что с Лобовым ничего бы не случилось, если бы не делал зла. Оно, зло-то, всегда – всегда! – возвращается к тому, кто её выпустил на волю, как птица в гнездо.

Каким образом двое других оказались «опасными преступниками», Сём Вань не помнил, да и никто не доложил ему в своё время. Колхоз выделил лошадь и розвальни, чтобы отвезти «преступников». Разрешили одеться потеплей. Сём Вань натянул новую малицу и для большего тепла подпоясался тасмой, как положено охотнику. Чекисты в ужас пришли, увидев нож – тасма без ножны не ремень! – тут же отобрали, обматерив Сём Ваня.

Потом всю жизнь Сём Вань об одном жалел, что не удалось попрощаться с Тимкой. Старшеклассники пошли в лыжный поход по району. Повезли арестантов ночью, тайком от народа. На перед-

ней повозке, как и впрямь в кошёвке, сидели в тулупах чекисты. На прощание местное начальство хорошо угостило их, они о чём-то говорили, часто заходясь пьяным смехом, а потом уgomонились, задремали на морозе. Лошадкой правил возчик, с которым и приезжали. Вторая лошадь рысила на привязи. В санях головой к передку лежали двое, а Сём Ваню места не хватило, и он, убористый телом, расположился в ногах поперёк розвальней, благо они тут раздавались вширь.

Руки-ноги арестантов были свободны, никто их не связывал. А куда сбегут? На улице под сорок градусов мороза, по дороге – два небольших посёлка, а так на всё без малого триста вёрст – полное безлюдье. Да и пригрозили конвоиры, что за попытку побега расстреляют на месте, есть у них на это полное право. Была вторая половина ночи, самое сонное время. Чекисты дрыхли, арестанты тоже уснули, да и возчик задремал, видать. Должно быть, повернувшись во сне, Сём Вань вывалился из саней. Очнулся уже на снегу.

Вот он лежит на спине посреди укатанного санника и смотрит на небо. А там разыгрались сполохи. Всё небо пылало разноцветными красками, которые причудливо перемешивались. Но Ивану не до красоты было, он старался одолеть сонную лень, чтобы подняться и догнать сани. Лошадки шли шагом, так что ещё недалеко ушли.

И тут на небе перед глазами Сём Ваня появилась книга. Она медленно раскрылась, и Сём Вань различил чёткие буквы, которые стали в этот миг понятны. «Живи и радуйся» – прочитал Сём Вань, молча шевеля губами. И только успел он мысленно произнести эти слова, как книга исчезла.

Про это явление Сём Вань рассказывал Никите не однажды. В конце пятидесятых годов прошлого века после службы в ар-

мии Никита работал в редакции районной газеты. Вот тогда завязалась у него с Иваном Семёновичем дружба, встречались чуть ли не каждый день по делу и без дела, то перекинутся двумя словами, а то сидят за столом в долгих беседах, иногда балуясь и водочкой. Сём Вань питух был никудышный, с третьей рюмки полностью хмелел, и его тянуло спать. Ну, какая тут беседа! По этой причине Никита гостя чаще угощал чаем. В чудесную книгу, которая раскрылась в небе, истый диалектик Никита, конечно, не верил в ту свою молодую пору. Он это явление тем объяснял, что Сём Вань был в полусонном состоянии, а на небе играли сполохи. Вот и почувствовалось, привиделось, пригрезилось.

Теперь на старости лет Никита Егорович не сомневался, что Сём Вань ничего не придумывал и книгу он действительно видел, потому что нет ничего такого, чего не могло бы случиться на белом свете.

Но как бы там ни было, а явление книги спасло Сём Ваня. Он же помнил, что эти люди с петлицами на лацканах увозили и прежде мужиков куда-то, и никто не возвращался. Так что и Сём Ваня везли на верную смерть. Когда он поднялся на ноги, повозки были уже далеко. Даже захоти, уже не догонишь. А он и не хотел.

Лес был рядом, родная тайга. Дорогу проложили по реке, по равнинной плоскости, и тут снег обдуло ветрами настолько, что можно было идти, не проваливаясь. Следов за собой не оставил, а уже в лесу далеко не пошёл. От села отъехали километров на тридцать. В лесу рыхлый снег приходился по пояс, до охотничьего домика не доберёшься. Оставалось ждать случая.

Днём проехали три подводы, но Сём Вань не вышел из скрадка, устроенного в кустах, в котором затаённо сидел. Не признал ездовых, не доверился. Пришлось переночевать в «куропачьем чуме», снег

послужил и пуховой периной, и пуховым одеялом. Не привыкать было, не раз приходилось этак устраиваться. Утром он увидел три олени упряжки. Это были свои, можно было не сомневаться. Он вышел из тайника и поспешил навстречу. Оказались ханты, оленеводы соседнего колхоза, ехали в свой чум из другого стойбища, где погостили. Он заговорил с ними на их языке, который знал не хуже родного. Не стал, конечно, рассказывать, что беглый арестант. Да никто его ни о чём и не спрашивал. Человек в беде, надо помочь человеку.

Так Сём Вань опять стал оленеводом. Работники нужны были, а он пастушьё дело знал, вот и прижился в чуме. Со временем бригадир справил бумагу на него – паспорта колхозникам не полагались – и занёс в список работников, чтобы начисляли трудодни. Сём Вань не скрыл ни своей фамилии, ни своего имени.

Уже спустя годы, Сём Вань узнал, что чекисты не вернулись за ним в село, вообще не искали, так что для сельчан и родного Тимофея сгинул он в неволе. Сём Вань потом не раз задавался вопросом, почему по его душу не воротились. Даже Никиту спрашивал:

– Как думаешь?

– Ищи тебя в тайге! – ответил Никита. – Больно им надо! Думали, не выжил. Посёлка поблизости не было, и такой мороз.

– А как же отчитались за меня?

– Им было велено привезти троих. Вот они и привезли.

– А третьим кто?

– По дороге забрали кого-нибудь. Из того же Васяхово, скажем. Обвинили, что себя выдаёт за другого, проклятый английский шпион. Да и расстреляли под твоей фамилией.

Английского шпиона в Васяхово фантасты не могли бы придумать, а чекисты – запросто.



Уже шестидесятые годы были, когда случился этот разговор, Никита начитался кой-какой литературы о репрессиях и допускал, что против истины не грешит. Именно так и могло сложиться, чекисты проблемы решали просто. Им что Иван, что Петрован – какая разница! Народу хватало до войны.

Одно благо, сына не тронули, дали закончить последний класс, а тут война грянула, и парня в первую же осень мобилизовали. Ему было восемнадцать лет, у него была невеста. Они дружили с восьмого класса. Девушка – Зинаидой звали – жила в интернате. Когда окончила школу, осталась в селе и переехала жить в дом жениха, заняла вторую половину, избицу. Сельским кумушкам любопытно было, вместе они пьют чай или врозь, но не очень-то совали носы. Всё же по закону – квартирантка. Да и не было ни у кого сомнения, что дело к свадьбе идёт. Родители невесты жили в посёлке, как тут называют деревни, в ста километрах от села. И с ними всё обговорено было – осенью сыграют свадьбу. Но Тимофея призвали в солдаты, а родители почему-то поспешно увезли Зинаиду к себе. Мужевские люди не понимали – почему? Жила бы в добротном доме, ждала бы своего солдата. А так изба осталась пустой, слепыми окнами пугая соседей. Правда, позже сельсовет её заселил приезжими ленинградцами, эвакуированными.

Оленеводов в армию не брали, на них распространялся лимит, в пастухи годились молодые и здоровые мужики, на стариков да женщин стада не оставишь. Так что Сём Вань на войну не попал, хотя по годам ещё подходил в солдаты. Про то, что сын воюет, он узнал от Татьяны. Его супруга Луку, на которого так много ворчала она, тоже мобилизовали, последнее письмо было из-под Сталинграда. Лука закончил два класса церковно-

приходской школы и самостоятельно писал, но после первой весточки не было от него больше ни строчки.

Конечно, Татьяна, подобно всем знавшим Сём Ваня, была уверена, что соседа забрали ни за что ни про что, скорее всего – по злому навету, и не будет ему дороги назад. Может, уже и в живых-то нет. А тут после стольких лет заявляется Иван Семёнович. И не как-нибудь, а ночью тайком.

Встречи той могло и не случиться, если б не страшная беда, которая самого Ивана не задела, но и после многих лет вызывала в нём такой ужас, что холодела в жилах кровь.

## Беда

Свела судьба Сём Ваня с одним беглым человеком. Звали того Николаем Елисеевым. От него узнал Сём Вань, как зрела та беда, как она разгулялась и чем кончилась. А уж Сём Вань поведал Никите. Тот запомнил ту повесть на всю жизнь.

Тундра... Мороз под сорок... Ледяная дорога... Трактора с волокушами, гружёнными лесом, углём, ящиками, мешками и мотками колючей проволоки... Их разгружают заключённые, зэки. Они, в первую очередь, строят сторожевые вышки, огораживают кусок тундры двойной колючкой и обустраивают вохру, охрану. Сами спят в палатках. Каждое утро из палаток вытаскивают умерших, уже оледеневших, относят в тундру и засыпают снегом. Весной оттаёт болото, и могил не надо копать. Сами себе строят бараки в последнюю очередь.

За что Елисеев попал в тундру? В плену оказался в сорок первом, как тысячи и тысячи по вине других растерянных полководцев. Потом – в немецком концлагере. А ведь как считалось? Раз был в плену, то уже виноват.

В строящемся лагере много было заключённых по пятьдесят восьмой статье, в основном – интеллигентов. Но урки держали верх в зоне. Елисеев прибился к ним. Тошно было с этим сбродом, хоть вешайся, но он с первых дней неволи мечтал о побеге. С доходагами по пятьдесят восьмой статье далеко не уйдёшь, а бандиты – народ тёртый, ушлый. Главное вырваться на волю, а там его только и видели. Доберётся до фронта и ещё покажет, какой он солдат.

В тех лагерных условиях не выжила бы ни одна земная тварь. Только человек... Держали впроголодь. Чуть провинился – в карцер. А это бокс такой, холодный, метра два высоты, и только стоять, ни лечь, ни присесть. Кстати, сами зэки и строили. Через сутки откроют – падает труп. Редкие выдерживали. Елисеев трижды оказывался в этом стоячем гробу. Вываливался без сознания, но выживал. Может, мечта о побеге помогала. По четырнадцать часов вкалывали. Укатывали песчаную насыпь катком. В два человеческих роста колесо сколочено из плах и набито камнями. Вот его и волокли зэки, как древние рабы. Никите потом снилось это колесо. И скрежет камней внутри.

Урки сильно сомневались в Николае Елисееве, он не был похож на них, но то, что «ботал» о побеге, их устраивало. По весне, когда потеплеет, но болота ещё не растают, предлагал он бежать, но не в сторону Москвы, а на восток, добраться до Оби, а там ночами подниматься на лодках и в первом же большом городе раствориться. Одному уйти в тундру – равносильно подписать себе смертный приговор. И побег удался. Напали во время работы на конвой, а состоял он из двух солдатиков. Те не ожидали нападения, вроде привыкли к заключённым, махрой угощали. Урки отобрали у них автоматы и расстреляли. Пошла чуть ли не

вся бригада, однако «очкарики» отстали вскоре, не для доходаг была прогулка по бездорожной тундре.

Осталось пятнадцать беглецов, все поджарые, жилистые, как сам Елисеев. И казалось, послушны были, признали его вожакom. Надолго ли только? Они ж, как крысы, только за свою шкуру. Но до Урала добрались без приключений. Искали их, видать, не там, думали – на запад подались. Самолёт над ними закружил на третий день. Но они уже оказались между гор, где можно было скрыться в лесу. А за Уралом снова – голая тундра. Ночью шли, днём отлёживались, прикрываясь мхом и травой. И добрались бы до Оби, не попадись на пути тот злосчастный чум.

Беглецы спускались по предгорьям Урала. Просматривалось далеко. Вот и увидели чум оленеводов, к тому же над ним столбом поднимался дым. Как не засечь? В глазах и во всём поведении своей ватаги Елисеев заметил нездоровое нервное оживление, но не озаботился поначалу. Изголодались, устали, промёрзли, вот и обрадовались, что можно поесть оленины и выспаться в тепле.

В стороне, в километрах трёх от чума, на берегу речки паслось стадо. Урки его не заметили, они стремились к одной цели. Елисеев почувствовал, что его слова уже никто не слышит. Бежали рысцой, как волки, оцетинив загровки. Оленеводы, как выяснилось, обедали. Когда собаки подняли лай, было уже поздно. Мужчины выскочили из чума, четверо их было. Автоматной очередью их уложили. И началось. Урки распотрошили грузовые нарты, нашли ящик спирта. Из чума никого не выпускали. А там оказались три женщины и шестеро детей. Бандиты напились, нажрались и решили устроить кураж, погулять на воле. Отомстить за свои обиды. Они ворвались в чум, забрав у мёртвых оленеводов ножи, острые,



как бритвы. Елисеев пытался остановить обезумевших скотов, его оглушили прикладом, оттащили в сторону и бросили. Сколько пролежал без памяти, не знал. Очнулся от нечеловеческих криков, хриплых стонов, животного мужского смеха и ора. Что-то невероятно страшное творилось в чуме. Елисеев подскрёб к себе камень, зажал в руке и стал подниматься. Но тут увидел девчущку, выползающую из-под брезента, которым накрывался чум. Видимо, пряталась под сваленными в кучу малицами и не выдержала, выдала себя. На улицу выскочил урка с автоматом в руке. Никогда прежде Елисеев не видел таких побелевших лишённых всякого разума глаз. Бандит схватил девчущку за волосы и поволок за собой. Елисеев подскочил и камнем ударил по голове. Тот смяк и мешком плюхнулся на землю. Елисеев спрятал девчонку на грузовой нарте, накрыв оленей шкурой. И пошёл в чум. Урки по очереди насильовали женщин, на их глазах ножами полосуюя детей, с хохотом изгаляясь над детскими трупами. И Елисеев стал стрелять, прицельно, без промаха, в головы. Пьяные, очумевшие зэки не понимали, что происходит, заметались в панике, а Елисеев стрелял одиночными выстрелами и валил одного за другим. Второй автомат валялся у входа, он ногой наступил на него. Теперь знал, патронов хватит. Наконец поняв, что их убивают, оставшиеся ещё в живых урки сбились в кучу и умоляли не стрелять. Они плакали, визжали от страха за свои жизни. Ни одного Елисеев не пощадил. Из детей спасти было некого. И женщины были растерзаны до полусмерти. Елисеев бросил автомат и пошёл к девчонке. Он спросил её, знает ли она, где стадо. Она сказала, что знает, стадо пасут два пастуха.

Но в это время показался Сём Вань. Он был одним из тех пастухов. Напарни-

ки услышали автоматные выстрелы и не могли понять, что происходит. Сём Вань и побежал к чуму. Незнакомый человек с автоматом в руке передал ему девчонку. Он помог Ивану вытащить из чума истерзанных женщин, они были живы.

– Скоро придут сюда стрелки, – сказал незнакомец. – Пусть в чуме остаётся всё, как есть.

Он посмотрел на девчонку.

– Считаю меня крёстным отцом, – скупно улыбнулся он. – Николаем меня зовут. Николай Елисеев. Запомни. Хорошо?

И он пошёл в ту сторону, где светлела полоской великая река Обь. Стрелки поймали его на берегу. Он сидел на корточках и смотрел на воду. Автомат лежал рядом.

Для следователей картина была ясной, к тому же это оказался не первый случай, подобное уже случалось, беглецы вырезали несколько чумов, не оставляя в живых никого. Женщин увезли в село, и девчонку, конечно. Та сильно стала заикаться. А Сём Вань с напарником по приказу начальства погнали стадо к ближнему чуму и таким образом угодили в новую бригаду.

## С повинной...

Прежние маршруты касланий проходили далеко в стороне от Мужей. А та бригада, в которой оказался Сём Вань, переводила стадо с летних пастбищ на зимние и обратно по застывшей Оби мимо села.

Вот в одну осеннюю ночь и поступался Сём Вань в избушку своего соседа Луки, найдя свой дом заселённым чужими людьми. Отпросился у бригадира на короткое время и остался с упряжкой оленей. Мол, утром и догоню стадо. Уж как там удивилась Татьяна, как засуетилась, как радовалась и плакала одновре-

менно, то подробности. А главное было в том известии, что Тимофея и Луку увезли на войну одним пароходом.

– Может, кому из друзей пишет? – с надеждой спросил Сём Вань.

– А друзья-то где? Там же.

– А помнишь?...

– Зинку-то? Замуж вышла, я слышала.

– Что уж так проспичило? – недобро, с обидой за сына проговорил Сём Вань.

– Это её спроси.

Сём Вань только слабо махнул рукой.

– О себе-то чего не расскажешь? – спросила Татьяна. – Тебя же забрали.

– Как забрали, так и отпустили, – не стал откровенничать Сём Вань, баба она и есть баба – язык впереди ума.

– Чего ж домой не вернулся?

– Значит, так надо.

Не стала Татьяна строить догадки, а в дверях перекрестила в спину уходящего Ивана и напутствовала:

– Бог тебя хранит!

Ещё раз два во время касланий Иван навещал Татьяну. Из опаски дождётся в лесу ночи и появится. Потом догонит на быстрой упряжке медленно бредущее стадо. Спрашивал только об одном, не было ли какой вести от Тимофея. На второй год войны Татьяна получила «похоронку» на своего мужа. Где воевал Тимофей и жив ли – никак не узнать было. И уже только после окончания этой долгой и страшной войны пришло письмо на имя Татьяны, написанное под диктовку чужой рукой, в котором сообщалось, что находится Тимофей в госпитале, что тяжело ранен, что он очень тоскует по родному селу, но приехать не может.

В этом письме Тимофей спрашивал, не было ли каких вестей от отца, но явно без всякой надежды. А то иначе спросил бы – не вернулся ли? Потом шли приветы соседям и друзьям-одноклассникам, из которых вернулись двое. Одного на пути

до чужого города Дрездена ни одна пуля не задела, даже не поцарапала, а второй ходил не протезе. Того, что целым остался и был в звании старшего сержанта, определили в милицию. Великое доброе дело сотворил он в своё время Ивану.

В селе тогда было всего два милиционера, да и те больше баклуши били. Народ-то послушный был и не пьющий. После войны пьянка поползла по селу оспой, безобразя не лица, а души людей. И милиции стало теперь больше роты, да все приезжие. А тот был местный. Его так и звали – Милиционер Максим, чтобы с другими соименниками не путать.

Когда Татьяна при очередной встрече передала полученное письмо Ивану, тот заставил перечитать его раз десять. Всю ночь сидел на кухне, положив перед собой на стол исписанный химическими чернилами лист из ученической тетради в линейку. Утром, когда начался рабочий день, Сём Вань пошёл «сдаваться». Милиционер Максим несказанно удивился воскресшему Сём Ваню, даже глазам сначала не верил. А Иван всё о себе рассказал, как на духу, ни одним словом не слукавил. Милиционер Максим полез в сейф, самодельно сбитый из жести, старательно рылся в бумагах, а потом сел за рабочий стол и долго думал о чём-то, глядя в окно. За это время в нём созрело начальственное решение и он сказал:

– Бумаг на тебя нет. Отсюда увезли, туда не привезли. Что тут хорошего? Дела не успели завести, значит, судимости не имеешь. А документы мог потерять. Мало ли какой случай! Чум сгорел, к примеру. А уж что ты есть ты, в селе всякий подтвердит.

Иван подал бумажку, в котором значилось, что он является членом колхоза «Большевик». Милиционер Максим повертел бумажку в руках, ещё побыл в раздумье и облегчённо вздохнул:



– Ну, что, дядь Вань? Переводись в наш колхоз по семейным обстоятельствам.

Должно быть, милиционер Максим рассудил так, что никто не станет искать Сём Ваня. Кому он нужен? Те ребята, что везли арестанта, могли сгинуть на войне. А если нет, то не вспомнят они, как однажды потеряли опасного преступника. Дураки что ли? Так что живи и радуйся, Иван Семёнович!

Хороший был человек – Максим, справедливый. За годы работы в газете Никита Егорович не раз встречался с ним, вместе как-то по району проехали, да и за рюмочкой привелось не раз посидеть.

Пусть для него земля вечно останется пухом!

С весны и до поздней осени Сём Вань оставался в Мужах. Тот же Милиционер Максим, одноклассник Тимофея, написал письмо в госпиталь. Сём Вань нетерпеливо ждал ответа. И на каждый пароход ходил. Вдруг приедет без всякого извещения. Уж очень отец просил сына вернуться домой, никакие увечья не должны тому помешать. И очень удивил его опять же чужой рукой написанный ответ Тимофея, что всё у него хорошо, но приехать никак не может и просит за то прощения.

Тогда Сём Вань решил поехать сам в далёкий подмосковный городок. На дороге денег набрал, Татьяна подсобила, сколько могла, знакомые помогли, да двух олешек продал. Это была та самая осень, когда Сём Вань передал оленёнка, преданного друга Никиты, в колхозное стадо. А сам по совету бывалых людей уехал последним пароходом в Омск, чтобы оттуда уже по железной дороге добраться до Москвы.

Вернулся он через пять лет, один. И уже под осень. Помнится, река ушла в русло, открыв широкие глинистые берега с лужицами, в которых оказывались бес-

толковые шурогаи. Зазевались раззявы и отстали от мелеющей реки. Мальчишкам была большая забава – ловить руками скользких рыбок.

## Причина

Много суеты в жизни, много житейских хлопот, бессмысленных и ничтожных, от которых не отмахнёшься, а докучают они до полного отчаяния. Иной раз подумаешь, на что уходит жизнь, и так становится досадно, что зло берёт, если к тому же и времени осталось мало, поскольку истекает выделенный природой срок твоего пребывания на земле.

И мелкая житейская суета уже начинает казаться Никите Мехову главной причиной его внутреннего недовольства. Ведь она создаёт видимость жизни. Не прячется ли Никита Егорович за этой видимостью, не находя для себя другого применения? Глотать таблетки в урочное время, выгуливать самого себя в строго определённые часы, соблюдать послеобеденный сон, заниматься дачными делами, настороженно прислушиваясь к сердцу, обстоятельно обсуждать с женой самочувствие – это не устраивало Никиту Егоровича. Зачем? Ради чего? Он себе такой не нужен был.

Понимал, насколько странным и неестественным покажется со стороны такое настроение, кокетством могли бы счесть, но себе-то врать нужды не было. Ведь помнил, как был нужен! Оттого, возможно, и нахлынули воспоминания, что возникла подспудная потребность понять, что же прежде было в нём такого, что сам себе нужен был. И что потерял, растратил или что истощилось в нём, унеся с собой жажду жизни, которая все прошлые годы не теплилась, а кипела в нём?

Кто ответит? Серафим что ли, сидя

посреди лужи? Да он, ещё не обсохший, рядом с пепелищем избы, распил со вчерашним приятелем бутылку ягодной бормотухи и шутил, охмелев:

– Неси картошки, напечём, углей хватает.

Беспечально прожил человек и умер во хмелю. Но с какой стати выплыл из памяти?

Был уже двенадцатый час, а что-то никак не мог уснуть Никита Егорович, ворочался в кровати, ворочался, надоело, поднялся, натянул спортивки и вышел в коридор. Больница спала. Дежурная девушка отрешённо посмотрела на Никиту Егоровича и снова уткнулась в книгу. А он пошёл по сумрачному коридору, на лестничной площадке устроился в кресле, углубился в него седалищной частью и остался доволен полным одиночеством.

Отчего? Вот же ещё вопрос! Отчего ранним утром в снежную замять привиделось Никите Егоровичу, как Сём Вань прошёл в избу, сбросил малицу и устроился за столом в горнице, с большим ожиданием поглядывая на сопевший самовар?

– Дело у меня до тебя, – сказал он.

Какой-то важный разговор затеялся в тот раз. Память натужно силилась воскресить в то далёкое время прозвучавшие слова, но всё ей не удавалось. Причина ясная – много их было, тех бесед! Но отчего-то же возникла нужда именно в этой. Какой-то ответ таился в том давнем разговоре. Какой?

И может ли что-то прояснить теперешнему Никите Егоровичу услышанное в молодые годы? Он же прекрасно понимает, что вся маета возникла по слишком понятной причине – пришла старость. И выходит, что выбора нет у него, остаётся одно – смирись и жди. Но вот тут-то собака и зарыта – не привычен Никита Егорович к безропотной кротости, сердце

не приемлет смирения. А всё оттого, что натура такая, дурацкая. Потому и утопает в кресле, да пытается ещё чего-то понять. Надо ему – видите ли! – непременно вспомнить, о чём говорили за чаем в далёкий зимний день с Иваном Семёновичем, и хоть ты тресни.

По возвращению из далёкого края Сём Вань не любил вспоминать о том, каким нашёл сына. Говорил, что устроился санитаром при доме инвалидов войны, так что виделся с Тимофеем каждый день. Если даже был солдат без рук, без ног, Сём Вань его на руках привёз бы на родину. Скорее всего, не захотел Тимофей показаться землякам беспомощным калекой. И не ждала его невеста, первая и единственная любовь. Умер сын от тяжёлых ран.

– За что? – вырвалось однажды за рюмкой у Сём Вани. – Его-то за что?

Это он говорил о судьбе, которая всё так же снилась ему первой женой князька, злой беззубой старухой. Сколько ж можно было ненавидеть Ивана только за то, что он был счастлив с Айной, а потом с Анютой, что он вырастил сына? Разве можно свои несчастья вымещать на другом? Какой от того толк?

Вдовая Татьяна приняла в свой дом Ивана. Ему тогда едва перевалило за пятьдесят лет, должно быть. Она была моложе. Два одиноких человека сошлись и зажили совместной жизнью. В эту-то пору Сём Вань и рассказал Никите о книге с тремя словами, прежде вправив сустав вывихнутой щиколотки. Потом Никиту призвали в армию. По возвращению он стал работать в районной газете. Тогда довольно часто встречался с Иваном Семёновичем. Обычно Никита расспрашивал, а Сём Вань рассказывал о своей жизни.

После того, как Никита стал учиться в Москве, встречались они редко. Иной





раз приедет студент на каникулы, а Сём Ваня в селе нет. Время-то летнее, уехал с женой рыбачить на Большую Обь и вернётся только к осени. По окончании института Никита не возвратился в село, потому что с его специальностью там делать было нечего, но также наезжал каждый год. Иногда встречался с Иваном Семёновичем, но уже тех тёплых доверительных разговоров не случалось. Отвыкли друг от друга, да и жили больно уж разными жизнями.

Но однажды судьба ещё раз свела их. Никита уже в Минске жил. В одном из писем брат Пётр, перечисляя новости в Мужах, сообщил, что умерла Татьяна, жена Сём Ваня. Старик остался один. Приехав в то лето в отпуск, Никита решил навестить Ивана Семёновича и застал его на дворе. Он строгал доску ручным рубанком.

– Эге, Никита! – признал старик и отложил инструмент.

Поздоровались за руку. Заметно постарел Сём Вань, совсем поседел, прежде живые переменчивые глаза потухли от засевшей в них невесёлой задумчивости. Изба тоже одряхла, одним боком сильно осевшая, стояла старчески кособоко под замшелой крышей. Такое было чувство, что от сильного порыва ветра развалится. Как потом выяснилось, зимой уже невозможно было протопить её, щелястую. Соседи по очереди брали старика к себе. Но с приходом тепла Сём Вань возвращался на свой двор и в амбаре, в такой же развалюхе, плотничал, строгал доски. Думали, решил крышу перекрыть, но что-то дело подвигалось медленно.

– У брата электрический рубанок, – сказал в первые минуты встречи Никита Егорович. – Вжик, и доска готова.

– Не-е, я ручным, – отмахнулся Сём Вань.

Только потом Никита догадался, что старик каждую доску хотел ладонями

прочувствовать. Стругнет, погладит – нет ли огреха. В сарае сохли уже обработанные доски. Сём Вань готовил себе гроб.

– Вот такая у меня затея, – сказал старик, когда расположились на крылечке. – Лучше меня никто не сделает. Уж для себя-то постарайся.

Сказал он об этом буднично, словно не домовину, а табуретку сколачивал. К смерти он был готов и даже говорить об этом не хотел.

– Как вы там живёте? – спросил старик. – Народу же много! Проезжал через Москву, знаю. В городе люди дышат дыханием друг друга. А тут у нас – свежим воздухом. Есть разница?

Стругал он доски не с утра до вечера, а только по настроению. Брат Пётр рассказывал, что Сём Вань много по селу бродил, не усидчив был, всё бы ему – к людям. После войны, помнится, нищие ходили по дворам, милостыню просили. Вот и Сём Вань...

– Не надо тебе, Наталья, изгородь поправить? – спросит одну хозяйку.

– Может, дров поколоть надо? – попытает другую.

А то мужик горбыль тащит для какой-то надобности.

Сём Вань тут же к нему:

– Подсобить?

Да какой он помощник! Сам еле на ногах держится. А всё равно спросит через изгородь подметающую крыльцо женщину:

– Может, чего сделать надо?

Люди понимали – от одиночества это, от полной неприкаянности. И хоть какую-то, но работёнку давали, посильную. Потом стали замечать, что не всё у него ладно с головой. Заговариваться стал, забываться, явно умом ослабел старик. А то чего бы гроб сколачивать принялся из обструганных тонко и в тени просохших досок? Брат Пётр сам был свидетелем,



как Сём Вань долго приглядывался подслеповатыми глазами к противоположной стороне улицы и сказал:

– Ишь, строем идут. Один за одним. А как иначе? Солдаты ж! Солдатам положено строем ходить, пока ноги есть.

А это рабочие шли цепочкой по узкому тротуару.

Странной была его болезнь, но для других безвредной, и никого она не досаждала. Видел он въявь картины давно прошедшие. Шли к нему люди, которых он знал когда-то, а то и любил, но в последний момент исчезали в воздухе.

– Только ж были, – потеряно разводил он руками. – Куда делись-то?

Но однажды произошла настоящая встреча. Никита Егорович, конечно, не был свидетелем этого события, но брат видел своими глазами, как всё случилось. Он-то и привёл парня к амбару, когда тот спросил, где живёт Иван Семёнович Беляев.

В солнечную погоду Сём Вань заканчивал гроб, последние гвозди забил, поставил крышку на место и отошёл в сторону, чтобы лучше рассмотреть свою работу. Широкие двери сарая были распахнуты, и много солнечного света вливалось через них снаружи. В этом светлом проёме появился человек, который сказал:

– Здравствуй, дед!

– Смотри-ко ты! – весело ответил Сём Вань, оставшись довольным своей работой. – И внук появился!

Это он пошутил. А когда тот молодой человек отошёл от сплошного света и приблизился, то Сём Вань чуть не упал. Он еле сделал несколько шагов и сел на гроб. Не отрывая взгляда от парня, Сём Вань ладонью похлопал рядом. Парень понял его и тоже опустился на гроб. Сём Вань увидел в лице парня живые в памяти черты умершего сына Тимофея. И не было у него никаких сомнений, что рядом сидит его внук, родственное сердце

не ошибается.

– Зовут-то как? – спросил старик осевшим голосом.

– Иваном.

Парню было лет двадцать пять или чуть больше. Значит, мог родиться до войны...

Потом, естественно, всё выяснилось. Когда-то Иван до свадьбы не тронул Аюту, живя под одной крышей. Тимофей же и Зинаида оказались нетерпеливей. Да и понять их можно – свадьбу считали неизбежной. После призыва на фронт Тимофея, Зинаида вернулась к родителям, а вскоре почувствовала, что беременна. И конечно, открылась родителям. Отец сильно разгневался. Он испугался позора. Тогдашние времена сильно отличались от нынешних. Если девка понесла до замужества, то уже пятно бесчестья не смыть было до конца жизни. Даже рождённого ею ребёнка, ни в чём неповинного, называли злые языки обидным словом «чурка». Суди, не суди людей, а так было.

От этого позора родитель увёз девушку в чум и сказал Осипу, молодому и холостому бригадиру:

– Держи крепче.

Чуть ли не в истерике билась Зинаида, когда поняла, куда её привезли и зачем. Но родитель оказался неумолимым, сел на нарты и уехал домой. Куда было девушке деваться? Пешком не пойдёшь, тундра – не место для прогулок. Тем более в сорокаградусный мороз. Все слёзы выплакала девка, да и смирилась. Летом она родила мальчика. Осип соглашался взять её в жёны и с таким приданым. Такая красавица иначе не вышла бы за него.

Мать Зинаиды люто костерила безжалостного мужа за дочь, но со временем притихла. От солдата ни одного письма не пришло. Значит, погиб. И выходит,



правильно поступил отец, что пристроил дочь и тем отвёл позор от семьи. Да и оленеводы в те голодные времена считались богатыми людьми. Хотя бы всегда – при мясе. Так чего лучшего желать Зинаиде, не сумевшей сохранить девичью честь?

Внук Иван рассказал Сём Ваню, что принимал Осипа за отца. Иногда догадывался, правда, что тут что-то не так. Трезвый Осип был очень разумного характера, да и во всём слушался жену, сильно привязавшись, но пьяным преображался, как все мы грешные, и ехидно упрекал жену первенцем, но не напрямую, а намёками. Зинаида ему родила ещё троих детей – двух дочерей и сына. Иван замечал различие, с каким относился Осип к своим детям. Но мать раскрыла правду только тогда, когда Осип умер от сердечной болезни сорока пяти лет отроду. Они уже вернулись с тундры и жили оседло в Овгорте.

– Гроб-то для кого? – спросил Ивана Семёновича внук.

– Гроб-то? – замялся Сём Вань. – Да так... из интересу.

Внук забрал деда и увёз на моторной лодке в свой посёлок. Сём Вань прихватил узелок, в который уместился весь его гардероб. Старую фуфайку и облезлую малицу внук не взял. Мол, найдём, что одеть, и Сём Вань согласился. Но упёрся насчёт гроба, заставил забрать всё-таки добро, тяжесть невеликая.

– Я с приданым! – сказал он Зинаиде, еле признав в пухленькой маленькой женщине худенькую школьницу, однако в этом не сознался, из симпатии проявив большую дипломатию.

Хлопотливая хозяйственная Зинаида велела сыну занести гроб на чердак и в дальнейшем держала в нём кедровые шишки, что приносил по осени сын из тайги. Они ж были смолистые, а тут про-

сыхали и легко шелушились, так что в этой избе щёлкали орехи всю зиму.

Дочери Зинаиды были замужем, жили своим хозяйством, младший сын остался в армии сверхсрочником, так что зажил Сём Вань и не в тесноте, и не в обиде. Зинаида привязалась к нему. Видать, память о Тимофее всё ещё жила в ней. Она призналась, что назвала сына Иваном только потому, что Тимофей мечтал дать такое имя первенцу из уважения к отцу. Но, должно быть, у злой старухи-судьбы опять зависть пеной на губах вспучилась. Новая счастливая жизнь Сём Ваня продлилась не более года. Умер он тихо, никого не побеспокоив. Похоронили на горке среди других могил в сухой песчаной земле и в гробу, пропахшем кедровыми шишками.

В один из своих приездов Никита Егорович навестил могилу и долго сидел на сколоченной внуком Сём Ваня скамейке. О чём думал? Что вспоминал?

Кажется, далеко позади остался Иван Семёнович Беляев. Но, похоже, идёт человек по кругу, и в конце жизненного пути приближается к началу. К такому мнению склоняло Никиту Егоровича то, что отчётливей в памяти становится детство, а юношеские привязанности кажутся ярче и сильнее последующих. Вот и возвратился Никита Егорович по той причине к своему давнему собеседнику.

– Струхнула чего-то, – подсказал Сём Вань, разглаживая на столе фантик от конфеты и поглядывая на Никиту с хитрецей.

Сам Никита Егорович утопал в больничном кресле, а Сём Вань сидел за столом перед пытящим самоваром в избушке, которой давно нет, разобрали на дрова, и сошла она дымом.

– О чём ты, дядь Вань? – спросил Никита Егорович, забыв о своих годах, будто молодость на время оттеснила их.

– Так ведь маешься! А всё она виновата.

– Кто?

– А душа твоя. Как мышь в горячей избе, заметалась.

– Ей-то чего пугаться?

– Вдруг что с тобой.

– Не темни, дядь Вань. Скажи ясней.

– А чего тут непонятного? Без тебя она будет бездомной. Чему ей радоваться?

И Сём Вань несуетливо отхлебнул из блюда душистого чаю, а Никита Егорович весь вскинулся, будто вспыхнул жарким пламенем сушняк.

«А ведь он прав! – подумал живо Никита Егорович. – Всё гадаю – что со мной? А это ж она испугалась, в панику впала. Душа! Вдруг ноги протяну, лапы склею, копыта откину, в ящик сыграю, дуба дам, окочурюсь... А ей каково будет? Она ж пригрелась во мне, ладненько устроилась, обжилась удобненько. Уж я ль её не лелеял, не жалел, не почитал, уж я ли не угождал, не ставил её превыше всего, не хранил в опрятности? Я ж о ней никогда не забывал, старался, чтобы ей было хорошо, не допускал до неё мрака, что наваливалась на меня не однажды в реальной жизни. Пусть бы только на душе светло было, считал я, тогда и на льдине в пору ледохода плыть не страшно. При сильной и ясной душе, был я уверен, все тяготы житейские одолею. А коли она отчаётся и в уныние впадёт, точно пропаду. И выкарабкивался из болот неудач без зла, без ожесточения и обид, обретал себя заново, потому что душа оставалась в сохранности и было куда возвращаться.

Я без неё не мог обходиться в этой земной жизни. Но теперь оказалось, что и ей без меня – полная проруха. Ведь чего испугалась? Она того испугалась, что меня потеряет. А без меня ей и вечность – не утешение. Кто о ней так заботиться будет, кто её станет укутывать любовью, как пуховым одеялом? И кому

она так нужна станет? Вот ведь что для неё важно, должно быть. Не спешит она оказаться в мировом пространстве, и не годы, не столетия, а вечно тосковать о том человеке, который единственно любил её, только в ней находя оправдание своего житья-бытья. Из благодарности за ту любовь она ответно наполняла его добрыми чувствами и раскрывала его глазам подлинную красоту, касалось ли то близких ему людей или природы. Она помогала ощущать, что живёт он не в узком и затхлом мирке мелких забот, а куда как шире пространство вокруг него. Вот так вот. И никак не иначе. Без взлелеянной души человек пуст, как коровье ботало без язычка».

Этот длинный мысленный монолог Никита Егорович выдал, казалось бы, на одном дыхании, словно прорвало нарыв. И пришло облегчение. Был такой случай в детстве у Никиты. Случилось это незадолго до того, как оленёнка определили в стадо. Приволок Никита из леса дров на санках. В упряжке были он да верный пёс Шахтёр, прозванный так за то, что был чёрным, как печная сажа. Устал Никита до невозможности. Высвободил пса из упряжки и повалился спиной на снег. Думал отдышаться, полежать минуты две. И такой сладкий сон стал заволакивать сознание! Усни, простыл бы запросто, хоть и был в малице, а воспаления лёгких не избежал бы, сот на морозе коварный. Но проснулся от толчков в бок. Оказалось, оленёнок своими маленькими рожками бодал его. Видать, соскучился, с утра ж не виделась, играть приглашал, а Никита почему-то не хотел побегать с ним, как обычно.

Вот и душа затормошила опустившего нос Никиту Егоровича, как тогда оленёнок. Да ведь о нём, – это ж о нём! – пришёл рассказать Сём Вань в тот раз, как пришёл с улицы весь в пушистой курже.

– Вот у меня какое до тебя дело, – сказал Сём Вань. – Про твоего приятеля узнал. Думаю, тебе интересно будет.

– Про какого приятеля?

– Да оленёнка! Забыл что ли?

Прикинув годы, Никита Егорович догадался, что встреча эта произошла в самом начале шестидесятых годов прошлого столетия, он ещё в редакции газеты работал. Оленёнок родился в конце войны. Ему, значит, в ту пору было около двадцати лет. Большого срока природа им не дала.

Оленеводы удивительным – уму непостижимым! – образом отличаются в двухтрёх тысячном стаде каждого оленя. И один из пастухов рассказал при встрече Сём Ваню про его оленёнка. Вырос он в могучего зверя. Редкостной силы был самец. И стал, естественно, менуреем стада. Привычней говоря – вожаком. Во время каслания стадо не двинется с места, пока менурей не пойдёт. Он первым пробивает путь по снежной целине, вскинув огромные ветвистые рога, целеустремлённый и гордый. А уж за ним движется стадо. Весь свой недолгий олений век оставался он неизменным менуреем, не уступая своё первенство молодым. Те и подступаться к нему боялись, страшен был в ярости.

Но старость оказывается сильнее любого богатыря. Однажды менурей вёл стадо через снежную тундру к морю. Снег по весне был уж больно глубоким и к тому же волглым, сам менурей и сразу за

ним идущие самцы увязали по грудь, пробивая путь брюхатым важенкам. По бокам менурей шли двое его сыновей, тоже могучие красавцы. К исходу дня сердце постаревшего менурей не выдержало и лопнуло. Он уткнулся в снег могучими рогами и застыл. Сыновья пошли дальше, не оглядываясь, соперничая друг с другом. Двух менуреев не бывает, и один из них взял первенство.

Стадо двигалось вперёд. Важенки проходили мимо неподвижного самца. Ещё недавно они были послушны ему. Он мог отогнать любого соперника. И каждая покорялась его любви. Теперь все ушли, а он остался один серой глыбой на истоптанном тысячами копыт снегу. Стадо не могло остановиться, как сама жизнь.

И в этот ночной час, сидя в кресле, Никита Егорович почувствовал жгучий стыд, словно ввзвев увидел направленные на него огромные и влажные глаза оленёнка, в которых застыл изумлённый вопрос: «Как это не радоваться жизни?». Он-то знал, его достойный друг, что надо идти до конца, до самого предела, пока не уткнёшься в землю лбом, тем поставив окончательную точку. Только так и никак не иначе.

Никита Егорович стал вытягивать себя из кресла, опираясь руками на подлокотники и чувствуя в себе возникшую в душе охоту научиться отбивать матросскую чечётку. Когда ж ещё и научишься, как не при жизни?

